



1988

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ბიბლიოთეკის მფლობელი
 მ. შიშკაძე
 ქობულაძის ქუჩა 30/31
 თბილისი

ბ. ვაჟა-ფშაველას
 ბ. ვაჟა-ფშაველას



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- НОДАР ГУРЕШИДЗЕ.** Стихи. Перевод Сергея Гандлевского 3
- РЕВАЗ МИШВЕЛАДЗЕ.** Новеллы. Переводы Натальи Гигиадзе, Людмилы Кравченко, Д. Борисовой, Наны Двораковской 8
- ТАМАЗ БАДЗАГУА.** Стихи. Перевод Натальи Соколовской 73
- ВЛАДИМИР ИКАЕВ.** Стихи. Перевод с осетинского Ирэны Сергеевой 77
- ГЕОРГИИ ХОРГУАШВИЛИ.** Выбор. Повесть. Перевод Д. Борисовой 79

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- АНЗОР ЧОМАХИДЗЕ.** Патриарх грузинской поэзии 149
- НУГЗАР ЦХОВРЕБОВ.** Внушая нам светлые чувства 159
- ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО.** «В неподвзятом зеркале литературы...» 174
- Наши юбиляры 180

6

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР ХАРИТОНОВ. Сквозь призму эстетических ценностей



НАУКА

ИНГА БАХТАДЗЕ. Культурологическая концепция Ильи Чавчавадзе 193

РЕЦЕНЗИИ

ВЛАДИМИР ПРОСТОСЕРДОВ. «Незапечатанные письма» 200

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

НАДЕЖДА ДИМИТРИАДИ. П. И. Чайковский и грузинская музыкальная культура 203

А. ПЕРОВСКИЙ — С. ДОДАШВИЛИ (Публикация С. Хуцишвили) 223

ХРОНИКА 78, 158, 180, 224

Крепость Зураба

Если ты для своих испытаний окажешься слабым,
если в поле твой плуг не оставит старательный след,
если не замуруешься в камень, как было с Зурабом—
справедливости крепость не будет воздвигнута, нет.
Если мысль о родимой стране
не владеет тобою,
если крест на Голгофу нести не настала пора,
если ты, как Зураб, добровольно не станешь стеною,
значит так и не будет воздвигнута крепость добра.

О ты, душа моя...

Когда бы завтра мне надежды не сулило,
когда бы я не ждал свидания с тобой,
когда бы мой народ не дал мне чудной силы
на песню и на жизнь, когда б не голубой
свод неба этого, когда б не трепетала
душа при взгляде на прекрасную Куру —
но это есть! И если этого мне мало,
пусть Бог казнит меня, пусть нынче же умру!
И с песнею душа братается со всеми —
с родными, близкими
и с теми, что вдали.
Да я и впрямь хочу
добра посеять семя
в сердца открытые людей большой земли.
Бей громче, барабан,
греми во имя жизни!
Весь мир передо мной — куда хватает глаз.
Что я скажу тебе, что я скажу отчизне,
чем я порадую, чем я прослаблю вас?

Крута тропа судьбы, но я взойду на эти
уступы голые, нелегкий путь верша,
лишь только потому, что есть на белом свете
ты, Грузия,
и ты, моя душа!



Прощальный стих Георгию Леонидзе

Ах, как жаль,
что не веря
в твой скорый конец,
этот стих, словно рог,
я тебе подношу с опозданием.
Ты боец,
ты грузинской поэзии златокузнец.
Лев на суше, орел в поднебесьи,
ты станешь преданием.
Пел ты братство,
стихи твои нас за собою вели,
как ведет полководец на битву
послушные рати.
И святыней была для тебя
пядь родимой земли,
счастлив я,
что причастен
твоей благодати.
Ты уходишь,
но жизни твоей суждено
стать легендой.
Доблесть была твоим даром.
Ты, из гроздьев поэзии выжав вино,
щедро нас напоил
драгоценным нектаром.
Ах, как жаль,
скажет каждый, сердечно скорбя:
— На осеннем пиру
собрались все мы, кроме
самого тебя.
Это ведь пир
в честь тебя.



Ты уже не пригубишь
вина цвета крови.
Ты уходишь,
оставив уже навсегда
мир, наполненный
красками, звуками, цветом.
Голос твой
нас уже не взбодрит, тамада!
Ах, как жаль,
сколько горечи в этом!
Умер тот,
кто с отечества солнечных глаз
не сводил,
но прекрасные очи закрыли.
Умер лев,
смерть саму попиравший не раз.
Так пылай же мой стих,
как цветок на могиле!

Памятники

Для чего вспоминать о каком-то Арсене,
почему обжигает нас древнее пламя? —
Чтобы память жила в череде поколений
и казалось, герои по-прежнему с нами.
Чтобы память живую водою была нам,
мы преданья одели тяжелым гранитом.
Мы верны им, дидгорским победам и ранам,
счет доньне ведем под Марабдой убитым.
Их породой поверим себя, их любовью,
их враждою и верностью гордой отчизне,
ибо кровь их и с нашей сливается кровью
и стучится в сердца до скончания жизни.
Нет у права у нас на позор и бессилье,
каждый род свой ведет от борца и героя,
что когда-то, расправив орлиные крылья,
шел с улыбкой на поле кровавого боя.
Настоящее только тогда и возможно,
если прошлое живо во времени новом.
Их мечи и доньне не вложены в ножны,
окликают нас предки воинственным зовом.
Этот клич боевой нам внушает отвагу,

голос грозного пращура слышен доньше.
Знаю, с предками вместе рвались мы к Рейхстагу,
торжествуя победу в разбитом Берлине.
Мы тебя не забыли, подвижник и воин.
Нас сроднило отечество общей судьбою.
С нами ты, ибо памяти вечной достоин —
вот и помним тебя и гордимся тобою.

Один взлет

Волны бились в каменные кручи.
Молния разъяла небеса.
Ветер с корнем рвал дубы, а тучи
черные подняли паруса.
Море пенилось. В такую пору
и большой корабль пойдет на дно.
Волны громоздились, точно горы,
завывая с ветром заодно.
В это время по велению рока
или просто, жертвуя собой,
взмыл орел огромный одиноко —
взмах за взмахом в купол грозовой.
Перьями шурша, летун могучий
прямо в небо подниматься стал,
разорвал лохмотья черной тучи,
выше тучи крылья распластал.
Состязанье со стихией даром
не прошло для дерзкого орла.
Молния ему одним ударом
оперенье крыльев подожгла.
Словно черный парус, крылья стали.
И доньше в толк я не возьму:
для чего он рвался в эти дали,
жизнью жертвовал он почему?
Или вовсе страх ему неведом —
разом вспыхнул и сторел дотла.
Что нашел он в состязаньи этом,
что за страсть на смерть его вела?
Он со всею яростью орлиной
бился крыльями о небосвод...
Жизнь — один лишь крик, лишь взлет
единый,
краткий миг отваги, крик и взлет.

Листопад



Смотри, на деревьях листва, как айва, пожелтела.
Виной тому осень, ведь осень дружна с желтизною.
И солнце скупится на свет, но еще на припеке
деревья прогреют, зажмурившись, старые кости.
И в южную сторону тянется клин журавлей.

Шуршание слышно в огромных разграбленных кронах,
и с трепетом наземь слетают широкие листья,
слетают и в воздухе чертят круги напоследок,
жаль, видимо, листьям расстаться с родными ветвями...
И в южную сторону тянется клин журавлей.

Какими несчастными смотрят в осеннюю пору
нагие деревья, прощаясь с прекрасной листвою!
И им расставание грустно. Вот ветер задует,
дожди зарядят, и покроются слякотью листья.
И в южную сторону тянется клин журавлей.

В лесу еще слышен деревьев таинственный шепот.
О чем им шептаться последней листвою одинокой?
Страшит их, наверное, лютая ярость ненастья,
а может быть, ветви поникли под гнетом былого —
и в южную сторону тянется клин журавлей.

А может, деревья испуганы скорою стужей,
а может быть, чувствуют сердцем деревья, что вместе
с листвою золотой молодые утрачены годы
и это последняя осень, последняя в жизни...
И в южную сторону тянется клин журавлей.

И старым деревьям понятно, что, видимо, скоро
им в землю вернуться и с прелой листвою лечь рядом,
и вот напоследок о первой любви вспоминают,
когда горячо обнимали ветвями друг друга...
И в южную сторону тянется клин журавлей.

Перевод Сергея ГАНДЛЕВСКОГО

(по заказу Главной редакционной коллегии по
художественному переводу и литературным
взаимосвязям при СП Грузии).

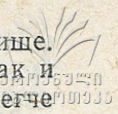


Новеллы

ИСПОВЕДЬ

Радуюсь за тебя, внучек мой, твоему азарту нынешнему радуюсь. Так оно и должно быть, а как же иначе. Не подумай, что каркаю я тут, как старый ворон, но уж очень больно и обидно мне, старику, будет, коль не расцветет вскорости наша земля. Поступь твоя уверенная сердце радует. Ведь если не верить в то, что делаешь, все одно, что толочь воду в ступе. Как ты сказал мне давеча? У вас, стариков, семь пятниц на неделе? То, что вы, да и мы вместе с вами понапортили, теперь вам одним исправлять приходится? Возможно, ты и прав, но чтоб вам этот мир переделать, чтоб вывернутое наизнанку налицо перешить, вам надо запастись большой выдержкой да терпением. Не так-то это просто. Ты вот говоришь: уродливую невесту румяна не красят, а я и сам вижу, что не из тех вы, кто хорохорится да пыль в глаза пускает, но... поживем, увидим, какой вы город построите. «Вот ты, а вот Крит», — говорили древние греки, а греки, сам знаешь, народ мудрый. Мне-то, наверно, пожить в вашей прекрасной стране и не придется, но да поможет вам бог во всех ваших замыслах и начинаниях. И все же уж очень хотелось бы посмотреть, на сколько хватит вас в вашем стремлении обновить этот мир.

Нет, внучек, говорю я тебе, нелегкое это дело, да вижу, не веришь ты мне. А может, оно и лучше. Приди ты ко мне за умом, я, неровен час, такого тебе присоветую, что враз отобью ото всего охоту, надломится у



тебя душа и перекинешься ты на какое другое поприще. Дерзайте, может, баша и возьмет, может, не так и плохи дела, как мне думается. Вам все же полетче нашего, ты уж на меня не обижайся. Человеку, которому за восемьдесят, можно верить. И если ты хоть немного прислушаешься к моим словам, и на том спасибо. Некому нам было сказать тогда, что не во всем мы разобрались, не выяснили толком, чего хотим. Теперь-то всем ясно, что шли мы не той дорогой. Нам, простым людям, говорили, что новый мир строится, идите, мол, за нами. Ну как тут было не пойти! Мы и пошли, засучив рукава. Мне к работе не привыкать, закончил я четырехлетку, на двухгодичном подготовительном учился, но предпочел всему землю, весь свой век провозился с мотыгой в руках. Как мотыги от земли не отнять, так вот и нас, грузин, от нее — кормилицы. Сеем да пропалываем, как повелось испокон века. Сам понимаешь, большой философии здесь не требуется, не такое мудреное это дело. Я других не касаюсь, другие, может, жили иначе, я тебе о своей жизни рассказываю. А ваша сила в том, что вы теперь можете оглянуться на пройденный нами путь да разложить все по полочкам, взвесить, в чем мы были правы, а в чем нет, нужное обмозговать, а непригодное отбросить. А нам, на кого нам было смотреть? Кто шел впереди нас? Мы писали новые строки истории, как теперь об этом в газетах кричат. Не сомневайтесь, все у нас вымерено да взвешено, не тревожьтесь, в своих расчетах мы не ошибаемся, говорили нам наши вожди. Но кто ж в этой жизни не ошибался?!

А знаешь, для чего я все это тебе сейчас говорю? Прощения у тебя хочу попросить, внучек, за то, что втравил я тебя во все это, и еще об одном попросить хочу, чтоб после смерти не трепали имя мое. Не заслужил я этого, веровал в свои убеждения так же, как теперь ты — в свои. Откуда ж мне было знать, что мы Вавилонскую башню строили.

Теперь-то мы видим, что не вышло ничего из нашей задумки. Долгое время мы все пыль в глаза пускали и врагам за кордоном, и внутри страны. Теперь никого не обманешь — весь мир благодаря телевизору, как на ладони.

Ты послушай меня, старика, хорошенько. Я говорю

с тобой от имени парней революции. Ничем они не хуже тебя были. И говорить умели и слушать. Пятнадцать мне было, когда Николая свергли. Слух об этом дошел и до нашей деревни, но многие отказывались в это верить. Простой человек никак не хотел верить в то, что царя можно свергнуть, мы-то думали, что царь ниспослан нам богом и неприкосновенен, как и сам бог. Помню как вчера — во дворе церкви Спасителя собрал нас член ревкома Моргошиа. Исполнилась наша мечта, сказал нам Моргошиа, послали меня к вам объявить, что теперь Грузия свободна, живите теперь, как душе угодно, жарьте да пеките, что пожелаете. После того прошло немало времени, но, сказать по чести, такими сияющими и счастливыми я соседей уж больше не видал. Моргошиа тогда всем нам пораздавал какие-то чины да титулы. Меня назначил кем-то вроде комиссара союза свободной молодежи села. Уехал Моргошиа, и мы вернулись к своим очагам, к земле. То, что жизнь в стране уже не текла по-старому, мы замечали по тому, что на поденщину теперь нас никто уже не гнал, да за налогами никто в наши дома не врвался. Изредка проходил по селу уполномоченный с перекинутым за плечо мешком, набитым хрустящими обесцененными деньгами и робко справлялся, не найдется ли у нас муки для продажи, стране не хватает хлеба. Да появлялись еще англичане, в касках, вроде тех, какие носят пожарные. Они вытаскивали из сумок розоватые камни и совали их нам под нос: мол, не видали ли таких поблизости. А потом отправлялись в лес и пропадали там неделями. Жизнь как будто поуспокоилась, и нам, хлебнувшим горя, вроде как цены поприбавилось, однако мы чувствовали, что это ненадолго. Люди понимали, что у правительства, вышедшего побираться с сумой от деревни к деревне, да напустившего в страну иноземцев, дела плохи.

Не прошло и четырех лет, как оправдались наши опасения, правительство Грузии бежало, власть захватили большевики. Слух о большевиках дошел до нас задолго до того, как они пришли в нашу деревню. Как пришли, так сразу девятнадцать наших односельчан, и меня в том числе, арестовали. Вы, мол, меньшевистские приспешники, состояли на службе у Жордания и поддерживали Временное правительство. Могу поклясться

ся тебе как на духу, не присягали мы в верности никакому Временному правительству и постоянному никогда не перечили, крестьяне мы были, мотыжили себе землю, как было нам на роду написано. Сказал мне Моргошиа, будь, мол, комиссаром молодежи, так чего мне было отказываться, а что мне нужно было делать как комиссару, видит бог, я понятия не имел, и Моргошиа ничего о том не сказал. Вполне возможно, что он и сам того не знал.

Выпустили меня через два года. Я было чуточку стал на ноги, жениться собрался, а меня снова в тюрьму, да чуть не повесили — ты, мол, был связан с Какуцой. Одиннадцать человек погибло тогда из нашей деревеньки. Поверишь ли, этого Какуцу я никогда в глаза не видал и те несчастные о нем не слыхали. А надо мной тогда видно просто кто-то сжалился: отпустили через две недели. И как только я тогда спасся, просто диву даюсь! Спасись-то спасся, зато целых семь лет после того на меня вся деревня косилась, а тут меня снова арестовали!

Было это в период коллективизации, когда под громкие песни вышагивали по деревне бригады. Надо было видеть тогда людей, браво выстроившихся в шеренги! Кто бы посмел хныкать да жаловаться на боль в пояснице?! Сразу объявили бы тебя врагом коллективизации. А я работаю себе, пот утираю и во всю эту круговерть не встречаю, ан нет, не время, оказывается, было отмалчиваться да жить в сторонке, нужно было шуметь во всю мочь вместе со всеми. А так как я этого не делал, меня в один прекрасный день внесли в «черный список», окрестили кулаком и засадили в губернскую тюрьму, а семью мою, оставив с одной козой, выдворили на кухню. В третий арест меня больше трех месяцев не продержали, сказали, чтоб не кулачествовал и не упрямствовал, не то, мол, Сибирь раем покажется, и отпустили. Что такое кулачество, я тогда и знать не знал, а об упрямстве моем во всей деревне отродясь никто не слышал. Какое там упрямство, да если б мне приказали, я б первым в огонь бросился. Время было такое, внучек мой. А то, что мы церкви рушили и священные книги жгли, да разве ж в здравом уме пошел бы кто на это? И теперь еще можно услышать тогдашнюю шутку, это когда председатель сельсовета при

всем честном народе в икону из револьвера стрелял да приговаривал, пусть, мол, ваш бог покарает меня. Священник наш возьми да скажи, с ума тебя бог стронул, чего ж тебе еще надо? И действительно, как же должен обезуметь человек, чтобы расстреливать икону.

А время шло, наступил тридцать седьмой год. И если жизнь человеческая и раньше-то особой цены не имела, то уж в те годы она и вовсе гроша ломаного не стоила. Знаешь ли ты, что такое муки страха?! Врагу не пожелаешь! Вот, к примеру, выскочит на тебя в лесу волк, испугаться-то ты, конечно же, испугаешься, да и как тут не испугаться. Но страх этот минутный, ведь так? Либо ты убежишь, либо волк. А окажись при тебе ружье, так ты выстрелишь, чтоб тебя не съели, верно? А вот теперь представь, что минута эта затянулась до бесконечности, что волк стоит у твоего порога, и ты не в силах ни дверь перед ним захлопнуть, ни выбраться наружу. В таком вот ужасе и жили тогда люди. Что наша деревня, каких-то тридцать домов, ты представь себе, что вообще творилось в стране. Поутру, выйдя во двор, сосед боялся окликнуть соседа. Должен сказать тебе, что женщины тогда бойчее нас оказались. Дня не было, чтобы светлой памяти жена моя, выгнав за ворота корову, не возвратилась без новости, ты ведь знаешь, женщинам легче перебраться словом-другим. «Вчера ночью приходили к Габуниа», «у Сихарулидзе с обыском были» — подобные вести и были тогда нашими «новостями». Все мы с ужасом ждали ночи. Днем обычно не беспокоили «врагов народа», как правило, ночью выискивали. Как только раздавался среди ночи стук у соседа, ты уже места себе не находил. Пришла пора клеветников и злопыхателей. Меня арестовали в октябре тридцать седьмого. Я, естественно, ждал этого. За время советизации меня арестовали из-за Какуци, при раскулачивании тоже посадили, так стчего и теперь меня не уважить?! Сказать по правде, я хотел, чтоб меня уж поскорее арестовали, препротивная это штука — страх. Пожаловали ко мне, как всегда, среди ночи. Я своих опекунов долго ждать не заставил, вещи мои были сложены загодя, и я покорно последовал за ними. Но как я узнал позже, моя жена подняла шум. «Кто это троцкист, бессовестные вы, и как только вам не надоело преследовать невинного человека!.. Кто про-

кормит четверых детей?!». Пошумела она, пошумела, а две недели спустя и ее забрали. Я-то, по счастью, вернулся, а вот о моей Шушаник уж никто ничего не слышал. Когда нас реабилитировали, так даже документов несчастной найти не удалось. Лишь в колхозной конторе отыскалась пожелтевшая бумажка — выписка из протокола колхозного собрания, которое проводилось в декабре 1937 года: «Исключить из членов колхоза Шушану Схвитаридзе, жену врага народа». Когда жену мою исключали из колхоза, ее, наверное, и в живых-то уж не было. Детей наших, как тогда бывало, разобрали родственники. Отец твой долгое время не называл меня папой, да разве ж его за это осудишь! В сорок втором меня прямо из Сибири послали на фронт. Дали мне, «врагу народа», винтовку в руки и доверили защищать этот самый народ и отечество. Ну как тут не удивиться!

Выжил я, выстоял под градом пуль и снарядов, возвратился в сорок пятом. Разыскал детей, а вот жениться уж больше не женился. Огородил забором запустелый двор, подновил домик, а в сорок шестом меня опять арестовали. Ну к чему, скажи ты мне, был этот последний арест?! Гитлер уничтожен, победившее государство стало одним из могущественнейших в мире, чего зря людей арестовывать?! Я ведь говорил тебе, что угодил в какой-то список, и как только начиналась «чистка в целях установления порядка», тут уж мимо моего двора пройти никак не могли. После пятого ареста здоровье мое сильно подорвалось. Шел пятьдесят пятый год. Сталина в живых уже не было. Что ваше поколение знает о Сталине? А у нас с его именем была связана целая жизнь, внучек. Правда, вся моя жизнь по его милости в страхе прошла, пять раз ни за что в тюрьму засаживали. И все же, как зайдет разговор о нем, тут я и даю слабинку. Сам не знаю, с чего бы это. Может, я преклонялся перед его могуществом, может, покорял меня его ум, может, подкупила его простота, показная ли, настоящая ли?.. А может, он мне нравился чисто внешне... Грудь его никогда не пестрела ни орденами, ни медалями... Я всегда пытаюсь понять людей, его критикующих... Я тоже за всестороннюю оценку человеческих поступков, но пусть это касается и других тоже, уж коль решили

мы говорить правду, так будем правдивыми до конца. Вот за что я ратую, внучек.

Знаю, надоел я тебе со своими разговорами. Ты вот, наверное, думаешь, нашел, мол, время говорить о Сталине, когда с делами сегодняшними управляться надо. Все так. Ты, как я вижу, парень неглупый, вот и уразумей одно: не оглянувшись назад, вперед далеко не уедешь.

У жизни свои законы. Теперь, когда телега чуть было не опрокинулась, мы поняли, что историю нельзя насиловать. Государство надо строить разумно. Огнем да плетью долго не продержишься... Бродим теперь вот по разоренному гнезду, ворошим могильные камни, надписи на которых стерты нашими же руками...

Видит бог, много хорошего задумано нынешним поколением. Глядя на вас, душа радуется, жаль только, что нам, старикам, на все это лишь со стороны смотреть приходится. Мне вот-вот девяносто стукнет, на что я могу вам теперь пригодиться? Разве что совет какой дать. Дай-то бог, чтоб вы не оступились, но не берите никогда в голову, что ключи от правды только у вас в кармане. Честь и хвала вам будет, коль достанет в вас силы выслушать инакомыслящего и не позволить душе озлобиться на сына человеческого. Выслушайте и его, разберитесь, может, и прав он.

Обожествлять кого бы то ни было да возводить в вожди в ваше время просто смешно, и ни к чему хорошему это привести не может. Жизнь на земле кратковременна, так не отравляйте ее. Конечно же, я радуюсь, радуюсь тому, что страх ушел из наших домов. А пока надо исправлять то, что исковеркано человеческим недомыслием, выходить на правильный путь, отучить людей лазать по чужим карманам. И еще — не вали моего и твоего в одну кучу, пытаюсь меня обмануть, и все будет в порядке. Не отбирай у меня куска и не вынуждай потом просить отломить кусочек.

Вот, пожалуй, и все, и да поможет вам бог! А я уж и за то благодарен, что поколение твое дало мне возможность говорить с тобой вот так — ничего не боясь, изгнав страх из души моей.

Перевод Натальи ГИГИАДЗЕ

ГОЛУБЫЕ РОГА



УДК 82(01)82
82(01)82

ПЕРЕУЛОК, словно кружевом, изрисован тенью резных балконных перил. На краю журчащей по одну сторону переулка канавы рядом сидят утки, опустив в воду желтые клювики. Поднимут головки, прислушаются к доносящимся из подвала виднеющегося за зеленой калиткой дома стуку и визгу — и снова склоняются к затерянной среди камней воде. Сунут в канаву лопатообразные клювики, замутят воду, потом гортанно переговорят о чем-то между собой, поправят крылья и на время успокоятся. Зачем они все это делают — одному богу известно. Вода, текущая из неисправного крана, не несет с собой ничего съедобного, да и не жарко (стоит декабрь месяц), чтоб можно было предположить, что им захотелось прохладиться. Простодушный человек может подумать, что утки просто развлекаются. А может, они и в самом деле развлекаются, кто их знает.

В освещенном самодельной неоновой лампой подвале сидят четверо мужчин. Пятый стул, сплетенный из натянутых ремней, пустует. Все четверо, не поднимая головы, словно дуясь друг на друга, молча, сосредоточенно пият лежащие на двухаршинном столе рога с локоть величиной. Рога эти по виду либо сайгачьи, либо туры. Впрочем, для винных рогов, которые мастерит эта четверка, это не имеет никакого значения. А чтобы превратить простой рог в винный, нужны немалая сноровка и усердие, особенно для таких новоявленных специалистов, как члены кооператива «Турий рог».

Низкий, приземистый бритоголовый мужчина прерывает работу, дотягивается до пристроенной на краю стола почти догоревшей сигареты, мизинцем стряхивает с нее пепел, хлопает себя обеими руками по карманам в поисках спичек, закуривает, делает одну затяжку, кладет дымящуюся сигарету на прежнее место, встает, подходит к окошку, отодвигает шелковую шторку и глухо произносит:

— А парад? Как же теперь будет с парадом?

В мастерской смолкает визг пилки. Трое сидящих за столом сначала смотрят на стоящего у окна, потом складывают на стол рога и пилки и недоуменно тарашатся друг на друга.

— С каким парадом?

— Да это я так, к примеру. Как мы будем на парад выходить? Вот так, впятером? К какой колонне пристраиваться будем? Спросят нас: кто такие, от кого отстали? — а мы что скажем?

Кто-то смеется.

— Ты смейся, смейся, а нас могут вообще не пустить. Если хочешь знать, отдельные лица вообще на парад не допускаются.

Один из троих, с обнаженными до локтей могучими волосатыми руками и с едва уместающимися на верхней губе толстыми усами мужчина отзывается раскатыстым басом:

— При чем здесь парад? До парада ли нам сейчас, Беня?

— Да это я так, к примеру, — Беня скребет затылок и снова смотрит в окно на виднеющуюся вдаль черную вершину, освещенную желтым светом упрямо вырывающегося из-за туч снопа солнечных лучей.

Совершенно прав уважаемый читатель, нахмурившийся в эту минуту лоб и уже готовый отложить в сторону мою новеллу. То я от уток никак не мог оторвать глаз, то занялся четверкой неизвестных, занимающихся обработкой рогов в каком-то таинственном подвале, то вдруг заставил одного из них задать этот в высшей степени странный вопрос: в каком порядке должны будут строиться во время предстоящей через четыре месяца демонстрации члены кооператива (и вообще, должны ли они принимать участие в демонстрации). Читатель любит конкретный разговор, и он прав. Так что теперь совсем не время описывать опускающиеся на горную вершину золотистые облака. Поэтому немедленно перехожу к делу.

Элефтер Шубладзе, около трех десятков лет проработавший на заводе, расположенном неподалеку от сорок седьмого почтового отделения (прошу у читателя прощения, но назвать более точный адрес завода я не могу из вполне понятных соображений — Р. М.), прочтя в газете о том, что отдельным гражданам или группе граждан предоставляется право открывать частные кооперативы, твердо решил создать кооператив. Не нарваться бы в поисках сотоварищей на жуликов, — подумал он и первым делом отправился к своему двою-

родному брату по отцовской линии Каки Чакалиди. Каки работал смотрителем зеленых насаждений в парке имени Третьего Интернационала. Благодаря постоянно му пребыванию на свежем воздухе, вид у него был очень здоровый, аппетит отменный, и единственное, на что он жаловался, так это на безденежье. Заманчивая идея создания кооператива воодушевила Каки, и он тут же согласился на предложение кузена, однако им пришлось изрядно поломать голову над выбором профиля будущего кооператива. Открывать хинкальную или шашлычную — неоригинально, да и конкурентов будет слишком много. Идею создания пошивочной мастерской братья тоже отвергли: дескать, когда еще мы научимся шить... Спорили, спорили и, наконец, сошлись на создании кооператива по выпуску винных рогов. Мол, если даже не достанем туры, то уж бычьих, буйволиных и козьих рогов у нас пруд пруди. Кроме того, создание такой мастерской не требует особых затрат, да и клиентов будет сколько угодно. Винные рога, не говоря уж о местном населении, и у иностранцев пользуются спросом, — это все же особая, необычная разновидность посуды. Остальных трех членов кооператива кузены нашли, надо признаться, не без труда. И Каки, и Элефтер мало что смыслили в технологии обработки рогов, хотя было бы неверным утверждать, что оба они (особенно Элефтер) были в этом деле полными профанами. Оба с детства умели и кой-какую домашнюю утварь смастерить, и люльку выстрогать, и янтарные бусы низать. И все же было желательно, чтобы трое остальных членов кооператива были специалистами по обработке рогов. Многократная высадка десанта кузенов в конце рабочего дня возле третьей экспериментальной фабрики объединения «Кинжал» и проведенная ими среди расходившихся по домам рабочих пропаганда преимуществ кооперативного труда дали в конце концов свои результаты. Недели через три фабрику по собственному желанию покинули двое специалистов: Гизо Таригашвили и Бения Гибрадзе. Что же касается Кичии Квеквескири, пятого члена кооператива, то ему увольняться не пришлось, так как он временно был безработным. Кичиа был мастером по холодной обработке точных деталей, работал на заводе по изготовлению торфяных сверл, и у него случился крупный разговор с

председателем месткома из-за того, что он в свободное от работы время у себя дома делал винные рога и продавал их инженерно-техническому персоналу завода.

В райсовете членов будущего кооператива приняли очень радушно, однако утвердить их кооператив отказались. Во-первых, дескать, не сможем обеспечить вас помещением — помещений у нас нет. Во-вторых, бойня не будет снабжать вас материалом, так как у нее уже двадцать пять лет как заключен договор с государственным учреждением — заводом «Вымпел». В-третьих, вообще не советуем вам ввязываться в это сомнительное дело: сегодня кооперативы разрешили, а завтра могут запретить, вот и останетесь на мели, как выброшенные на берег рыбы. Значит, вы нам отказываете? — не без нажима спросил Элефтер. Да что вы, кто вам отказывает, как можно, — пропел заведующий кооперативным отделом. Так что же это, если не отказ? — повысил голос Каки. Ну, — говорит заведующий, — раз вы такие упрямые, ищите себе помещение, доставайте рога, а мы, когда увидим, что вы люди деловые, конечно, утвердим ваш кооператив, куда мы денемся.

В тот день, когда они вышли из кабинета начальника, Гизо проворчал: «Если они ни помещением нас не обеспечивают, и вообще ничем не помогают, так зачем оно нам нужно, их утверждение — будем себе делать рога и продавать». Но друзья не поддержали это его предложение, да и сам Гизо, поразмыслив, испугался собственных слов: не могут существовать в нашей стране такие кооперативы, которые хоть где-нибудь не были бы утверждены и зарегистрированы.

Сотоварищи развили бурную деятельность. Сняли подвал на Саихвской улице (хозяину дома они обязались давать в месяц пятьдесят рублей и семь рогов), Кичиа по дешевке раздобыл где-то рога и доставил их ночью в подвал на соседском виллисе. В исполкоме их изрядно помучили, прежде чем утвердили кооператив. Однако они все же добились своего — и в описанном нами в начале этой новеллы переулке, за зеленой калиткой появилась созданная неопытной рукой самодеятельного художника вывеска с голубым винным рогом и надписью: «Кооператив «Турий рог» № 7». Кооператив по изготовлению винных рогов в городе был пока

один, так что откуда взялся этот № 7 — сказать не берусь.

Видели бы вы, с каким рвением принялись они за работу. Оказывается, не нужны никакие табели, никакие гудки, чтобы заставлять людей вовремя являться на работу. Утром прибегали, опережая друг друга. Ни минуты не теряли зря. Друг к другу относились с добротой и уважением. И за месяц эти пять человек изготовили столько рогов, сколько директору завода «Кинжал» не удавалось выпустить и за квартал. Куча красивых голубых рогов у стены в подвале выросла почти до потолка, и Элефтер уже занялся поисками фирмы для их сбыта, дабы вовремя вывезти первую продукцию для ее, как писали в газетах, реализации.

Первый месяц существования кооператива был уже на исходе, и членов «Турьего рога» постепенно стала охватывать странная тоска по тому, что осталось для них в прошлом, по тому, с чем они, по их мнению, навсегда распростились. Первые искры сомнения в и без того смятенные души кооперативщиков заронил Беня.

— А как, к примеру, будет у нас с пенсией? — спросил он в позапрошлый вторник.

— Да какое там время о пенсии думать, — беспечно отозвался Элефтер, хотя в сердце его все же кольнуло: «А и вправду, кто нам назначит пенсию, ведь мы фактически уже отделились от государства, кто же позаботится о нас в старости?».

— Какое время, говоришь? А вот увидите. Не знаю, как вам, а лично мне до пенсии рукой подать. На что потратил силы и молодость — неизвестно, эх, пропади все пропадом, — Гизо покрутил колесо и подровнял край рога.

— Но и так тоже не годится. Я вот стоял в очереди на квартиру, на телефон... — продолжал Беня с лицом очень огорченного человека.

— Ну и что, что стоял в очереди? И всю жизнь простоял бы. Ведь зря стоял, ну, признайся.

— Все же была какая-то надежда. Иногда человека и ложь поддерживает. Чего мне стоило только на учет стать!

— Ну да, конечно. На учет стать — целая проблема. Как будто этот их учет что-то дает. Ну и стой на

учете. Наклей себе свой номер на одно место и ходи с ним.

— А ведь в скольких местах мы были занумерованы — страшно вспомнить. Номер этого, номер того, и тут номер, и там номер. Попробуй все упомянуть! Слово ушами нас к тем номерам приклеивали. — Кичиа редко вступал в подобные разговоры и теперь все удивились, чего это он о номерах вспомнил.

— И все же, если по правде, там было лучше. Со всем одичали мы тут за один месяц. Как это можно, чтоб тебя на собрания не звали, на митинги не приглашали, не объявляли выговор с занесением в личное дело и не снимали его через три дня? В этом снятии ведь тоже своя прелесть была. Ты его ждал... А теперь мы словно в игорном доме находимся и только и ждем, что за нами не сегодня-завтра придут и заберут нас, — твердил свое Бения.

— Не бойся, тоска по собраниям и митингам скоро пройдет. Я тебя, конечно, понимаю, но по-моему, все же лучше, когда ты утром встаешь и знаешь, что тебе нужно за день сделать, для кого стараешься и что будешь с этого иметь. Разве это мало? — был уже наготове ответ у Элефтера.

— Да, но если мы все здесь перессоримся, кто нас рассудит? Нет, все то многочисленное начальство — оно все-таки было нужно.

— Для чего они нужны, объясни, будь другом, все эти начальники, что сидели на наших шеях? Чего нам ссориться? Что нам делать? А то ведь ничего невозможно было оставить при себе — все должны были все про тебя знать! — вскипел Каки.

— А вот увидите, если мы, как отбившиеся от стада овцы, на волка не нарвемся. Говорю вам, они были нужны. В учреждении обязательно должен быть и свой интриган, и свой нахлебник. Скажем, взять даже того же доносчика — так и у него есть свое место в коллективе, — Бения подбоченился и стал в центре мастерской, под лампой.

— Вообще-то, между нами говоря, всегда надо сначала все хорошенько обдумать. По-моему, мы немного поторопились, — это был голос Каки. — И никакого поощрения у нас здесь не будет. А там, бывало, придет

к тебе корреспондент, щелкнет фотоаппаратом — все же какой-то стимул.

— Какое тебе нужно поощрение, Какия, с ума тебя не своди, ты что, ребенок малый, тебе ж уже пятьдесят лет! Принесешь домой деньги, не будешь думать о том, чем завтра семью кормить — какое еще тебе нужно поощрение? — с обидой в голосе произнес Элефтер.

— Деньги да, конечно, но у нас деньги — это еще не все. Не так у нас жизнь устроена. К примеру, есть у тебя деньги и ты хочешь купить путевку. Кто тебе ее продаст, если ее тебе местком не выделит? — сказал Кичия.

— Да что там путевки, а талоны, которые нам выдавало государство?

— Какие талоны?

— Как какие? На мясо, на сыр, на масло.

— Да, наверно, дадут и нам эти талоны. Не оставят же так. Мы ведь за кооператив плату вносим, а это что-нибудь да значит. Думаю, все будет в порядке, все постепенно выяснится, нам надо только свое дело делать, — Элефтер и сам почувствовал, что в эту минуту его устами говорил разочаровавшийся в кооперативе, мучимый сомнениями человек.

Вскоре все и вправду выяснилось.

Первый гость явился вслед за вернувшимся Элефтером как раз в тот день, когда Беня завел разговор о параде.

Это был высокий похожий на сову мужчина. Лицо, словно просом, усыпано оспинками. Вошел и тут же радостно объявил членам кооператива, что он явился с проверкой из ревизионной группы. Ему предложили стул, он сел, раскрыл кожаную папку, снял очки и, словно сделав открытие, громко и несколько даже гордо спросил:

— Это седьмая мастерская, да?

— Седьмая, уважаемый, — отвечал Элефтер.

— А другого стула нет?

Кичия встал и придвинул ревизору свой табурет.

— Ну, как рога?

— Вроде неплохо, — опередил всех с ответом Гизо.

— Идут?

— Простите?

— Клиенты, говорю, есть?

— Да пока еще ни одного не продали.

— Чего же вы ждете? — ревизор обвел взглядом подвал и уставился на сложенные у стены рога.

— Да мы, осмелюсь напомнить, только недавно открылись. Хотим с кем-нибудь договориться, чтоб брали у нас оптом. Им так тоже будет выгодно. А у нас где время продавать в розницу!

Гость ничего на это не сказал. Он встал и, прижав к груди папку, деловито приступил к исполнению своих обязанностей. Его интересовало все: где они достали рога, кому принадлежит подвал, сколько рогов в день они делают... Потом инспектор заставил кооперативщиков переложить тоговую продукцию к другой стене, дабы убедиться, что у мастерской нет потайного хода. Потом заинтересовался квалификацией Бении. Закончил ли, мол, ты какое-нибудь специализированное учебное заведение по обработке рогов. Есть ли, мол, у вас упаковочный материал, ведете ли учет готовой продукции, завели ли для этой цели специальный журнал. На туманные ответы Элефтера ревизор недовольно покачивал головой и делал какие-то пометки в своем журнале.

Окончив ревизию, вымыл руки, уселся на табурет, который ему уступил Кичия, придвинул к себе второй стул, потом, сообразив, что на ременном стуле писать будет неудобно, догадался поменять стулья местами.

Долго писал, бормоча что-то себе под нос и облизывая ворошиловские усы. Кончив писать, попросил Элефтера расписаться на акте в двух местах и только после этого заявил: все, дескать, ничего, но меня беспокоит отсутствие у вас квитанции на приобретение рогов.

— Но в исполкоме нам сказали, чтоб мы их сами доставали, — простодушно оправдывался Элефтер.

— Да, конечно, вам так сказали, но смотря как доставать. Те, кто вам их продал, должны ведь были выписать вам какую-то бумажку.

— Если честно, то мы их вовсе и не покупали, а сами собрали. Обошли родственников и собрали. Такие рога, знаете ли, у многих без нужды валяются, — зататорил с просиявшим от собственной находчивости лицом Каки.

Ревизор захлопнул папку, долго смотрел на Каки укоризненным взглядом, потом спокойно сказал:

— Эти сказки, уважаемый, можешь внукам перед
сном рассказывать, если они у тебя есть.

Он вышел и сначала направился было по переулку
вправо, но, сделав несколько шагов, повернулся и по-
шел в обратном направлении. В той стороне, куда он
направился, автобусной остановки поблизости не было.
Может, он вспомнил старую трамвайную остановку, ко-
торая действительно была тут, за поворотом, до того,
как ликвидировали трамвай?

Словно узнав, наконец, дорогу к «Турьему рогу», с
этого дня повадились в кооператив многочисленные ре-
визоры и проверяющие. Шли и шли агенты пожарной
охраны, службы безопасности производства, общества
охраны труда, санитарной инспекции, городской элек-
тросети — эти, правда, долго не задерживались и до-
вольствовались составлением коротеньких актов. Зато
часами сидели в мастерской представители народного
контроля, исполкомовских рейдов, инспекторской груп-
пы и милиции. Если сначала члены кооператива встре-
чали проявляемые к ним со стороны государства знаки
внимания спокойно, а Бения в душе, возможно, даже
радовался, то постепенно, когда, не говоря уже о не-
возможности работать, они просто-напросто устали от
всех этих проверок, члены созданного Элефтером брат-
ства стали отвечать на контрольно-ревизионные вопро-
сы все более кратко и, можно сказать, хмуро.

Каки же давеча так осмелел, что атаковал склонив-
шегося над актом очередного инспектора следующим
вопросом:

— А можно и мне у вас спросить?

Ревизор снял очки:

— Слушаю вас.

— Скажите, если это не секрет, почему вы нас про-
веряете? В чем мы провинились?

— Кто же вам говорит, что вы провинились?

— Так чего же вы от нас хотите? Рога наши, на-
пильники наши, руки вот эти, будь они неладны, тоже
наши. Не будем же мы у самих себя воровать!

Если я скажу, что гость сразу нашелся, что отве-
тить, то буду не прав. Представитель власти подумал,
подумал и придумал следующий ответ:

— И почему у вас, у кооперативщиков, у всех такие

длинные языки? При чем тут воровство? Мы вам помочь стараемся, оказать содействие.

— За содействие мы вам, конечно, благодарны, но если уж нам оказали доверие, дали разрешение, то может, дали бы нам и время для разгона? Ведь за неделю к нам по девять таких помощников является. Мы еще ни одного рога не продали. И не знаем, продадим ли. Может, эти наши рога вовсе и не нужны людям, и мы напрасно гнем спины здесь, в этом подвале, — несмело, словно пугаясь собственного голоса, проговорил Элефтер.

Представитель содействующей организации вывернул нижнюю губу и пока не прикрыл за собой дверь, так и не вернул губу в ее естественное положение. Просьба Элефтера пришлась ему явно не по вкусу, но, как и все его коллеги, он тоже с удовольствием унес с собой «на память» подаренные кооперативом два голубых рога.

* * *

Кооперативу «Турий рог» нет еще и трех месяцев, а Элефтер уже больше недели назад внес в райисполком подписанное всеми пятью его членами заявление о ликвидации кооператива. Просьбу свою они могли бы обосновать и получше, но и того, что писали в заявлении собратья-кооперативщики, было вполне достаточно, чтобы закрыть «Турий рог».

Им отказали. Пока, дескать, не можем ликвидировать. У нас пока есть инструкция только по открытию кооперативов. О закрытии в ней ничего не говорится. И вообще у нас еще не было случаев ликвидации кооперативов.

ВОЛОКИТА

ВТО утро Ираклий Мургулия плавал без всякого удовольствия. И вода казалась холодной, и тренироваться не было охоты. Мозг сверлили слова, сказанные главным редактором на вчерашнем совещании: «Тот, кто не опубликует хотя бы один очерк, пусть пеняет на себя — характеристики не получит». Уже полмесяца

проходят третьекурсники факультета журналистики практику в газете «Гармония». Другие уже и руку набить успели, и себя зарекомендовать. Только Ираклий со своими вечными отговорками ни строчки еще не написал. А ведь если ему не зачтут практику, он и стипендию потеряет, и еще, чего доброго, на курсе могут оставить.

Бросил в портфель полотенце и шлепанцы, провел расческой по мокрым густым волосам и, выйдя в коридор, услышал крики врача бассейна Раждена Чачуа. Это его не удивило. Среди обслуживающего персонала бассейна «дядя Ражден» был самым скандальным человеком. На этот раз он прицепился к одному из членов команды ватерполистов: мочалки, дескать, у тебя нет — не пушу.

«А не написать ли мне очерк о Раждене?» — подумал Ираклий, и это «озарение» так его обрадовало, что он чуть не высказал его вслух. Отошел в сторону и стал прислушиваться к спорящим. Белый халат с трудом сходился на животе у Раждена. К нагрудному карману пиджака были приколоты ордена и медали. Он обладал голосом Эроси Манджгаладзе и безапелляционным тоном таможенника. Закончив отчитывать ватерполиста (тот был отпущен с «последним предупреждением»), Ражден обернулся к Ираклию: «А вам что угодно?» — «Ничего, уважаемый Ражден». — «Так чего ж вы на меня уставились, а? Поплавали? Вот и идите себе, делом займитесь!». Ираклий миролюбиво улыбнулся врачу и направился к выходу. Но на Раждена Чачуа улыбки пловцов-абонементников не особенно действовали. Он был убежден, что за подобными улыбками всегда скрываются какие-то нарушения правил, какое-то мошенничество.

Придя в редакцию, Ираклий поделился своими соображениями с заведующей отделом очерков, статной женщиной в очках Любой Кирвалидзе: так, мол, и так, хочу написать очерк о враче плавательного бассейна Раждене Чачуа. Люба сняла очки, какое-то время внимательно взглядывалась в студента-практиканта, потом заговорила присущим ей менторским тоном: «Вообще-то героем очерка может стать любой человек, если, конечно, он личность интересная. Уточни, на всякий случай, нет ли у него судимости или партийных взысканий».

На другой же день Ираклий принялся «уточнять». Явился к председателю месткома, хромому мужчине с маленькими быстрыми глазками, которого знал лишь в лицо, и спросил: «Скажите, пожалуйста, не получал ли Ражден Чачуа в последнее время каких-либо взысканий или выговоров?». Председатель прикрыл окошко, вприпрыжку, как кенгуру, обежал вокруг стола, подсел к Ираклию и испуганно спросил: «Натворил что-нибудь, да? Лишнее сболтнул? Скажите мне, скажите, мне вы можете довериться». Журналист-практикант смущенно отвел взгляд в сторону: «Да нет, я просто так спросил», — уклончиво ответил он не в меру любопытному председателю. «Лично я ничего такого за ним не замечал. Никаких официальных взысканий он не имеет. Более того, недели две назад даже получил не то шестую, не то седьмую медаль. А там кто его знает... Если бы вы мне поручили, я бы мог за ним понаблюдать». Известно, за кого принял председатель месткома нашего Ираклия, но что в нем скрывался незаурядный талант соглядатая — это факт. С откровенным сожалением проводил он взглядом покидающего кабинет Мургулия. О чем же он сожалел? О том, что у Раждена Чачуа не было взысканий, или о том, что Ираклий не доверился ему до конца и даже не признался, кто он такой? А может, и о том, и о другом?

Минут через пять Ираклий зашел к Раждену. Тот, узнав о намерении молодого журналиста, тут же напустил на себя скромность: «Вообще-то, в нашем заведении очерки надо писать о выдающихся спортсменах или, по крайней мере, о директоре. Я совсем не гожусь для этого дела. Я всего лишь простой врач плавательного бассейна. У меня даже степени ученой нет». «Нет, я должен написать именно о вас, задание у меня такое», — стоял на своем Ираклий. Слово «задание» немного смягчило несговорчивого врача, и он смущенно забормotal: «Ради бога, если это так необходимо. Но вообще-то я вам не советую. Во-первых, я был разведен, и вообще у меня много недостатков. Вспыльчив я очень, да вы ведь и сами знаете — всем надоел». Но журналист не поддался на отговорки и в тот же вечер, как было условлено, уже стучался в дверь квартиры Раждена Чачуа в доме номер семь по Артиллерийской улице.

«Проходите, вас ждут», — сказала высокая светловолосая женщина в полосатом фланелевом халате и провела Ираклия в гостиную. Ражден сидел за овальным обеденным столом, заваленным папками для бумаг, и что-то разглядывал в лупу. При виде гостя вскочил, щелкнул каблуками: «Прошу прощения, не заметил, как вы вошли. А это моя супруга, Бабилина», — зататорил он, потом патетическим тоном возвестил супруге: «Вот это и есть журналист Ираклий... простите, как ваша фамилия?» — «Мургулия», — отвечал Ираклий. «Ираклий Мургулия! Собирается писать обо мне очерк. Теперь, будь добра, оставь нас одних и займись ужином. Мы тут пока поработаем, а ты смотри, не забудь мчади испечь!». Супруга кивнула головой и удалилась.

Ражден поднес к правому глазу лупу и очень серьезно спросил практиканта: «Вы любите мчади?». Ираклий утвердительно кивнул.

«Работа» их затянулась надолго. Ираклий рассчитывал записать кое-какие даты, взглянуть на членов семьи, а остальное домыслить при помощи фантазии, но все оказалось совсем не так просто. Ражден с поразительной неумимостью развязывал одну за другой громоздившиеся на столе папки и зачитывал вслух вооруженному блокнотом и ручкой журналисту все, что ему попадалось под руку. Прежде всего он ознакомил гостя с происхождением рода Чачуа, затем начертил на листе бумаги генеалогическое древо своих предков вплоть до седьмого колена (включая его самого), прочел в разное время и по различным поводам написанные автобиографии и характеристики, заставил просмотреть все семейные альбомы. Потом принялся по одному вызывать в гостиную детей и представлять их Ираклию, сообщая подробнейшие сведения об их возрасте и роде занятий. Все это врач проделывал в таком темпе, что по лицу у него струился пот, и ему то и дело приходилось смахивать пальцем скапливавшуюся в углах рта пену. Минут через пятнадцать Ираклий утратил всякий интерес к папкам врача и стал рисовать в блокноте квадратики, однако маску внимательно слушающего человека сохранил до конца и даже сумел скрыть радость, когда хозяйка, наконец, позвала их к столу. «Как же нам быть, сегодня мы все прочесть не

смогли, придется вам завтра опять к нам пожаловать», — огорченно взглянул на гостя Ражден. «Что вы, я столько всего записал, для одного очерка этого. Более чем достаточно. Если мне что-нибудь понадобится, я вам позвоню. Если можно, подберите, пожалуйста, фотографию для газеты», — с этими словами Ираклий поднялся, но ему еще долго пришлось стоять в ожидании, пока батони Ражден выбирал среди рассыпанных по столу фотографий одну, по мнению Ираклия, отнюдь не лучшую. «Если вы не возражаете, пусть будет вот эта. Как видите, здесь я еще сравнительно молод. Да, пусть будет эта. В последнее время я почему-то стал плохо получаться на фотографиях». Ираклий сунул в карман фотографию вместе с блокнотом и примерно в половине первого наконец распрощался с хозяевами.

Очерк был написан на следующий же день. Университетская машинистка Марго быстро его перепечатала, и в среду утром, прежде чем сдать рукопись в редакцию, Ираклий принес ее Раждену: «Ну-ка взгляните, нет ли каких-либо ошибок в фактах». Ражден запер дверь кабинета, предупредил сестру, чтоб его не беспокоили, и попросил Ираклия прочесть очерк вслух под тем предлогом, что сам он, дескать, будет читать долго.

Ираклий стал читать, медленно, с выражением:

— «О чем поведали застывшие мгновения».

— Что?

— Это заглавие такое — «О чем поведали застывшие мгновения». В редакции его еще могут изменить.

— А, понятно. Дальше? Продолжайте, прошу простить меня. Чувствовалось, что Ражден очень волнуется. Ираклий продолжил чтение:

«Раждену Чачуа уже под семьдесят. Он работает врачом в плавательном бассейне. Это довольно плотный, но очень энергичный человек. Речь у него такая быстрая и нервная, что кажется, будто он постоянно куда-то спешит. Знакомство наше началось так: я пришел к нему за подписью и печатью на абонемент. И без меня, думаю, устал человек, избавлю-ка я его от малоприятной процедуры моего осмотра, и говорю ему вполголоса: — Уважаемый Ражден, здоровье мое и так проверяют по меньшей мере трижды в год, на плавание я хожу уже пять лет. Может, поверите мне на слово и подпишете так, а? — Вы бы видели, какое изумление и

возмущение отразилось в глазах врача! «Да как вы смеете, на что вы меня толкаете, я вам, конечно, верю, но как это можно, могу ли я допустить такое, зачем же тогда я здесь сижу. Помните, здоровье у человека каждый день меняется. Дай бог вам крепкого здоровья, но вот я, например, сегодня уже совсем не тот, что был вчера. Поверите ли вы, глядя на меня теперь, что много лет назад я был чемпионом военного округа по гимнастике?» Стыдно мне стало за мою бестактность и досадно, что подвела меня на этот раз моя интуиция. В словах Раждена Чачуа не было ни придиричivosti, ни капризного упрямства, ни желанья показать свою власть: здесь, дескать, будь добр считаться со мной, меня сюда потому и посадили, что я кое-что значу и кое за что отвечаю. Нет, устами врача спортивного комплекса говорил настоящий профессионал, верный клятве Гипократа, добросовестно выполняющий свои обязанности, обладающий чуткостью и военной дисциплинированностью.

Вслед за этим мы обменялись мнениями об общественном порядке и о необходимости дисциплины. «О порядке надо помнить всегда и везде. Характер человека даже в том проявляется, как он из машины выходит. Иной выскочит — и бежать, так что даже дверцу за собой захлопнуть забудет. Другой выйдет с важным видом очень занятого человека и, не оглядываясь, с силой хлопнет дверцей. А иной, смотришь, обернется, вежливо поблагодарит водителя, осторожно прикроет дверцу и отправится своей дорогой, — говорил Ражден. — Если мы все будем добросовестно выполнять то, что на нас возложено, общественное сознание, хоть и не сразу, но все же в конце концов привыкнет к мысли о необходимости соблюдения порядка. Мы все хотим, чтобы был порядок, но требуем его от других, для себя же предпочитаем легкие пути. Чем беспардоннее человек, тем более предприимчивым и ловким слывет он в некоторых кругах».

Целый день не давало мне покоя поразительное свойство, на первый взгляд, самого обыкновенного врача плавательного бассейна — способность угадать характер человека даже по тому, как он выходит из машины. В то же время мне хотелось узнать, было ли то, что мне сказал Ражден Чачуа, его внутренней сутью или просто привычной внешней позой, маской, которую люди так

часто надевают в соответствии с обстоятельствами, а за первым же поворотом срывают и отбрасывают в сторону.

Не знаю, передалась ли ему моя упрямая любознательность или он почувствовал симпатию, которой я проникся к нему с первой же встречи, и не смог мне отказать, но факт остается фактом, что вечером мы уже сидели с ним в заполненной членами семьи Чачуа квартире по Артиллерийской улице, рассказывая друг другу обо всем на свете, причем мой словоохотливый хозяин демонстрировал мне не только семейный альбом, но и свой личный архив.

Редко доводилось мне быть столь приятно удивленным и столь переполненным неповторимыми впечатлениями.

Могут ли вместить целую человеческую жизнь один потертый фотоальбом и папка для бумаг? Ведь все эти фотографии, грамоты и документы — лишь застывшие мгновения беспокойной жизни врача. Чувство, обычно охватывающее нас после подобных просмотров, называется грустью. Грусть эта вызвана тем, что годы летят с молниеносной быстротой и так обрабатывают нас, что в один прекрасный день мы рискуем не узнать самих себя.

Потомок прославленных представителей рода Чачуа, сын легендарного Герваси Чачуа, Ражден, окончив медицинский институт, возглавлял больницы и лаборатории в разных уголках Грузии, затем вернулся в родной Тбилиси и в настоящее время, как я уже говорил, работает врачом в спортивном комплексе. Супруга его Бабилина Михайловна — опытный стоматолог. У них двое детей: Лия и Гоча. Лия химик, Гоча — врач-кардиолог.

Вот и все. Так сухо и бегло пришлось изложить жизнь Раждена Чачуа. Но все, о чем рассказал мне сам хозяин и о чем неоспоримо свидетельствуют документы его архива, — это беспокойная жизнь ровесника революции. Это целая эпопея привыкшего к борьбе и труду человека, для которого война длилась бесконечно долго, которого жизнь неоднократно ставила перед суровыми испытаниями и который и сегодня смело подставляет свой испещренный морщинами честный лоб всем ветрам эпохи.

И пусть не кажется читателю скучной и неинтерес-

ной безграничная преданность этого человека с самой юности запавшей ему в душу истине, его твердая позиция и высоко, словно знамя, поднятая им порядочность. Словно даже не касались его сознания, ни пятнышка не оставили на его совести такие распространенные пороки, как взяточничество, карьеризм, очковтирательство, лицемерие и двуличие.

Он разговаривает с вами с оптимизмом человека тридцатых годов, говорит почти лозунгами, подкупая и покоряя вас своим здоровым энтузиазмом. Заставляет вас, усталого и перегруженного практицизмом, думать по-своему. Вы расстаетесь с ним — и вами овладевает сознание того, что вас снова поставили в строй, снова вернули в ряды борцов за правду.

Как это прекрасно, что есть на свете такие люди.

Сегодня Ражден Чачуа — ветеран войны и труда, кавалер семи правительственных наград, очень нужный для всех нас на данном этапе духовного катарзиса и всеобщей перестройки человек»

Ираклий закончил чтение и взглянул на врача. Ражден сидел, подперев руками толстые щеки, и пристально смотрел прямо перед собой, на белую стену между весами и шкафом. Он долго молчал, потом повернулся к ожидающему оценки автору и, словно поверяя ему тайну, шепотом проговорил:

— Как хорошо вы написали. У меня просто нет слов.

— Что вы, уважаемый Ражден, вы достойны лучшего. Это так, наспех. Вам правда понравилось? — заскромничал Ираклий.

— Блестяще, — убежденно сказал Ражден, тихонько погладил его по тыльной стороне кисти и внезапно деловито продолжал: — А фотография подошла? А не могли бы вы дать мне второй экземпляр рукописи? Я дома еще почитаю. На слух это все же не то. Вы — профессионал. Настоящий. Можно я запишу номер вашего телефона? Пусть будет на всякий случай. Никто еще не оказывал мне такого уважения. Как же вам удалось так хорошо меня узнать? Вы как будто в самую душу ко мне заглянули и все там рассмотрели. Вы далеко, очень далеко пойдете...

Похвалы врача плавательного бассейна приятно ласкали слух будущего журналиста. Иногда он все же бросал на восхищенного его опусом Раждена недовер-

чивые взгляды, наконец оставил ему свой телефон и второй экземпляр рукописи, подхватил сумку, вышел на улицу и на ходу запрыгнул в уже тронувшийся троллейбус.

В тот же вечер, перед самым началом программы «Время» Ираклия позвали к телефону.

Думая, что это может мне и не пригодиться в моем повествовании, я с самого начала не сообщил читателю, что Ираклий жил на пятом этаже четвертого нового корпуса студгородка. Телефон же стоял в конце коридора, на столе у дежурного. Администрация студгородка неоднократно предупреждала студентов, чтобы те не увеличивали до бесконечности число своих абонентов, так как дежурный с трудом справлялся со своими обязанностями.

— Слушаю! — крикнул в трубку Ираклий, левой рукой подтягивая штаны тренировочного костюма.

— Батоно Ираклий, это я, Ражден. Я вас не разбудил? Наверно, оторвал от дел? Короче говоря, я только хотел узнать, не сдали ли вы очерк.

— Сдал, батоно Ражден.

— Ауф! — вздохнул Ражден.

— А что случилось?

— Да нет, ничего особенного. Но, наверно, поправки внести еще можно?

— Конечно. Что-нибудь серьезное?

— Ничего серьезного. Мне ли вас учить. Так, ерунда. На первой странице, где вы пишете, что речь у меня нервная. Не слишком ли это сильно сказано — «нервная речь»? Нервная речь, осмелюсь вам напомнить, свойственна психам, так что не подняли бы нас с вами на смех. Вам, конечно, виднее, но, может, слово «нервная» заменить каким-нибудь другим, скажем, «спокойная», «размеренная»? А дальше, соответственно, убрать «все время куда-то» и вставить вместо этого «никуда». Получится «никуда не спешит». По-моему, так будет лучше.

— Хорошо, завтра же пойду и исправлю. Просто ваша быстрая, нервная речь показалась мне характерным штрихом к вашему портрету, — поскреб затылок Ираклий.

— Да нет, я с вами не спорю, уважаемый Ираклий. Речь у меня быстрая, конечно быстрая, но нервной она бывает только тогда, когда я нервничаю. Если хотите,

можете так и написать: дескать, когда волнуется, речь у него становится нервной. Это уж как вам будет угодно. Но лично мне больше нравится «спокойная речь».

— Хорошо, батоно Ражден, я напишу так, как вы просите.

— Вы на меня не в обиде, батоно Ираклий? Вы ведь профессионал, смею ли я делать вам замечания, — торопливо и нервно продолжал Ражден.

— Нет-нет, что вы! Может, еще что-нибудь?

— Сначала ответьте мне: вы правда не обижаетесь?

— Ну что вы! Только, если можно, побыстрее говорите. Это телефон дежурного, его нельзя долго занимать.

— Ах, прошу прощения, батоно Ираклий. Сейчас, сию минуту. Так... постойте, ага, на второй странице у вас написано: «на первый взгляд это совсем простой человек»... Помните? Может, подыскать другое слово? «Простой человек» — не означает ли это «ничтожный»? Мне-то все равно, но коллеги могут обидеться. Какой же я «простой»? Я ведь врач, врач спортивного комплекса. Так не пойдет. Неуважение к профессии получается.

— Но там ведь написано «на первый взгляд».

— Даже на первый взгляд, какой же я простой? В белом халате хожу, очки ношу. Мне кажется, я не должен производить впечатления простого человека. Поймите меня правильно, я вовсе не поучаю вас, боже упаси. Не настолько я грамотен. Вы — профессионал. Просто, мне кажется, для дела будет лучше это убрать. Вы не обижаетесь?

— Да нет, все в порядке. Обязательно исправлю. Это все?

— Все. Пока все.

— Ну, тогда до свидания. Будьте здоровы.

Ираклий положил трубку. Произнесенное врачом «пока» показалось ему дурным предзнаменованием. Подходя к своей двери, он уже жалел, что избрал героем очерка Раждена Чачуа.

Среди ночи, в половине двенадцатого, в дверь к нему не просто постучали, а забарабанили. Ираклий знал, что подобную бесцеремонность позволяет себе только дежурный, да и то в тех случаях, когда его будят и просят позвать к телефону студента.

— Кто там? — спросил вскочивший с постели Ираклий.

Приехавший в город для накопления стажа юноша сван ничего не ответил. По ночам ему снились заснеженные Кавказские горы, и если бы он не боялся огорчить родителей, то охотно отказался бы от скучной должности дежурного в студгородке и вернулся домой.

Ираклий последовал за дежурным, на ходу заправляя в штаны рубашку.

— Алло! Я слушаю! — интуиция не подвела его — это снова был врач плавательного бассейна.

— Я вас разбудил, батоно Ираклий? Но я очень беспокоюсь, так что вы уж меня извините. Никак не успокоюсь. Хотел позвонить утром, а потом подумал: а вдруг утром не застану? Вы завтра плаваете?

— Нет, батоно Ражден.

— Я так и думал. Вдруг, думаю, не придет завтра в бассейн. Дело у меня совсем простое, но для нас с вами оно может иметь большое значение. Если вы помните, на третьей странице у вас написано: «Супруга его, Бабилина Михайловна — опытный стоматолог». Нельзя ли немного изменить? Алло, алло, вы меня слышите?

— Да-да, слышу.

— А мне показалось, что нас разъединили. Может, лучше так написать: «Супруга его, Бабилина Михайловна — опытный стоматолог, пользующийся заслуженным авторитетом среди медперсонала поликлиники и пациентов». Как вы считаете, батоно Ираклий?

— Можно и так, батоно Ражден, но тогда стиль получится слишком канцелярский.

— Какой стиль? А? Я не понял.

Ираклий решил, что разъяснение того, что такое «канцелярский стиль», займет слишком много времени, тем более, что он и сам точно не знал, что это такое, поэтому ответил коротко:

— Хорошо, хорошо. Я все понял. Завтра исправлю.

— Вы только не обижайтесь. Мне ли вас учить. Я просто по-дружески. Вы уж не забудьте, батоно Ираклий, очень вас прошу. Вы записали все мои просьбы? Если хотите, я могу повторить.

— Нет-нет, это ни к чему, я все помню.

— Ну, спокойной ночи. Тысяча извинений.

— Спокойной ночи.

Ираклий зачем-то дунул в трубку и положил ее на рычаг. Постоял, глядя на дежурного, и, так и не сумев поймать его недовольный взгляд, глухо проговорил: «Большое спасибо, Хабук. Если мне сегодня еще позвонят, не зови меня, очень тебя прошу. Скажи, нет его, вышел».

На другой день Ираклий опоздал на редакционное совещание. Вообще-то совещание еще не началось, но когда Ираклий заглянул в конференц-зал, никто не пригласил его войти, а сам он не решился. Все сотрудники редакции уже сидели в зале и даже головы не повернули в сторону опоздавшего. Когда совещание закончилось, Люба Кирвалидзе, проходя мимо топтавшегося в коридоре Ираклия, на ходу бросила: «Пройдите в мой кабинет, я зайду в секретариат и сейчас же вернусь».

В коридоре было жарко. Журналисты и практиканты суетливо бегали по нему взад-вперед. Кто действительно по делам, а кто просто так, для видимости.

Люба пробыла в секретариате довольно долго. Придя наконец, извинилась, что заставила ждать, и сразу приступила к делу: очерк ваш, дескать, мне понравился, я его вчера же подготовила и сдала редактору. Ираклий знал, что по требованию редактора заведующие отделами все материалы журналистов-практикантов сдавали ему лично.

«Нельзя ли мне в нем кое-что исправить?» — робко спросил, глядя в сторону, Ираклий.

«Вообще-то это не очень удобно, но если это действительно необходимо, зайдите к редактору и исправьте прямо у него в кабинете. Я к нему не пойду. Он очень не любит, когда в сданные материалы вносятся какие-то изменения», — сказала Люба.

Ираклий долго, как маятник, ходил взад-вперед в приемной редактора. «И охота мне было связываться с этим очерком. Написал бы парочку информации — и все. Все равно никого без характеристик не оставят. Вот выругает сейчас меня редактор — и будет прав!»

Наконец решился войти. Приоткрыв дверь, увидел редактора, сидящего за уставленным телефонами столом со сложенными на груди руками и возведенными к потолку глазами. Заметив вошедшего, редактор Герваси Имнадзе тут же водрузил на нос очки и схватился за бумаги, желая, видимо, показать гостю, что тот за-

стал его в разгар работы. Вообще-то дел у редакторов, конечно, хватает, просто в тот момент Герваси отдыхал. Номер был уже готов, и он вполне мог себе позволить немного понежиться.

Ираклий извинился за беспокойство и пустился в сбивчивые объяснения: я, дескать, практикант Мургулия, Кирвалидзе сдала вам вчера мой очерк, не могли бы вы дать мне его на одну минутку, мне нужно в нем кое-что исправить.

Имнадзе молча достал из стола очерк и протянул его Ираклию. Студент поблагодарил и вышел. Тут же, в приемной, за столом секретарши, внес в него все «пожелания» Раждена Чачуа и минут через десять вернул очерк главному редактору.

Редактор и на этот раз ничего не сказал. Молча принял рукопись и снова углубился в бумаги.

Скажу вам по секрету, что редактор газеты «Гармония» практикантов не любил. Девушек-практиканток он еще кое-как терпел, что же касается юношей, их он почему-то органически не переваривал и, как ни старался, никак не мог скрыть своего к ним отвращения.

Практиканты, конечно, чувствовали враждебное отношение редактора к их скромным особам и старались поменьше показываться ему на глаза.

По правде говоря, Ираклий даже удивился, что встреча с редактором прошла столь мирно. Мрачный взгляд и упорное молчание первой редакционной скрипки он воспринял как нечто само собой разумеющееся. Словоохотливых и сладкоречивых мужчин Мургулия не любил. Мужчина должен быть строгим, сдержанным и серьезным, считал он. Выйдя из кабинета главного редактора, покрутился у линотипистов, потом заглянул к Кирвалидзе, попрощался с ней и вышел на улицу. Пошел вниз по проспекту Руставели, поглазел на выставленные в окнах издательства «Мерани» фотографии ГрузИНФОРМА, порылся в книжном магазине напротив оперы, наконец, стал у кинотеатра «Руставели» в длиннющую очередь на «Покаяние» и упрямо простоял в ней три часа. Билет ему достался лишь на десятичасовой сеанс.

Домой Ираклий вернулся в дурном расположении духа. Впечатление от высоких художественных достоинств фильма подавлялось мыслью о том, что в наш ци-

визированный двадцатый век художник в своем блестящем произведении вынужден говорить о волчьих законах, царящих во взаимоотношениях между людьми. Сидя в автобусе, пытался найти среди своих знакомых прототипов персонажей «Покаяния» и, что его особенно удручало, находил их.

Ночь провел в каком-то возбужденном, полусонном-полубодравшем состоянии. Под утро, наконец, заснул, но был буквально подброшен с постели грохотом в дверь. Приоткрыв дверь, увидел в коридоре удаляющуюся спину дежурного и понял, что его зовут к телефону.

Поплелся по коридору, едва волоча ноги. Прежде чем взять трубку, спросил дежурного, кто звонит, мужчина или женщина. Просто так спросил, лишь бы что-то сказать, потому что прекрасно знал, кто ему звонит. Он испытывал чувство вины перед этим интеллигентным сванским юношей, у которого на столе четвертый день лежал учебник по обществоведению, раскрытый все на той же нечетной, семьдесят первой странице.

— Доброе утро, батано Ираклий. Это я, Ражден. Я вас не разбудил? Вы сегодня плаваете?

— Нет, батано Ражден.

— Не удалось, наверно, исправить то, что я просил, некогда вам, наверно, было?

— Все исправил, батано Ражден.

— Да что вы говорите?! Уже?! Печатать, конечно, еще не скоро будут? Там ведь, наверно, очередь?

— Точно не знаю, но думаю, не позже следующей недели напечатают.

— Что вы говорите?! Если бы вы только знали, как мы этого ждем всей семьей. Блестящий очерк. Особенно то место, где вы пишете, как человек из машины выходит. Я ведь вам ничего такого не говорил, но как великолепно придумано.

— Старался, как мог, батано Ражден, вы ведь очень интересная личность.

— Это не я, а вы интересная личность. Вы так молоды, а уже столько знаете. Запомните мои слова: вас ждут великие дела. Это так. Да, так почему я вас беспокоил. Только вы, ради бога, не сердитесь на меня. На четвертой странице, в шестой строчке у вас написано: «Он разговаривает с вами с оптимизмом человека

тридцатых годов, говорит почти лозунгами». «Оптимизм человека тридцатых годов», если вам так уж хочется, пусть остается. Хотя это, конечно, недостаток. Отсталый я, значит, человек получаюсь. Но раз вы так считаете, пусть будет так. Надо же и о недостатках сказать. А вот «лозунги» обязательно надо чем-то заменить. Уже сколько времени прошло, как мы перестали лозунгами говорить, зачем же мне это приписывать? Что люди скажут? Мол, оказывается, Ражден Чачуа говорит лозунгами? Не губите меня, давайте заменим каким-нибудь другим словом или совсем уберем это предложение. Если, конечно, вы не возражаете.

— Хорошо, уберем, батано Ражден. Только какой в этом месте тогда переход получится?

— Переход, по-моему, получится вполне естественный. Если же вы сочтете нужным, можете вставить какую-нибудь другую фразу, только, ради бога, «лозунги» не оставляйте, заклинаю.

В это время дежурный положил перед Ираклием лист с написанным крупными буквами текстом: «Жду звонка из Местиа, долго не разговаривай», — вполне законно просил студента-журналиста сын гор. Ираклий молча кивнул и крикнул в трубку:

— Хорошо, батано Ражден! Это все?

— Еще один вопрос у меня. Заголовок я не понял. Что это значит: «О чем поведали застывшие мгновения», а, Ираклий?

— Дело в том, что фотографии, которые вы мне показывали, я воспринял, как застывшие мгновения. Именно эти застывшие мгновения рассказали мне о вашей жизни.

— Прекрасно, великолепно, уважаемый Ираклий, но, знаете, не каждый поймет. Застывшие мгновения — это больше к мертвым подходит. Я же, слава богу, пока еще жив, так что давайте не будем давать моим врагам повод для торжества: дескать, время для Раждена Чачуа уже остановилось. Может, лучше подобрать какой-нибудь заголовок попроще? Например, такой простой и понятный, как «Образцовый гражданин» или «Личность, достойная подражания», на ваше усмотрение, конечно.

Есть у нас, у грузин, прекрасное слово — «одеревенеть», обратиться в дерево. Ираклий именно одеревенел.

Он стоял, держа трубку в опущенной вниз руке, а из трубки неслись душераздирающие крики Раждена: «Алло, не правда ли, так будет лучше? Вы согласны?! Так будет лучше для дела. Алло! Батоно Ираклий, разбеди- нили, алло, алло!»

Ираклий осторожно положил трубку на рычаг и взглянул на дежурного, но ничего не стал ему говорить. Хабук сегодня и так наверняка всем будет отвечать, что Ираклий Мургулия вышел и будет поздно вечером.

В тот день редактор долго его не принимал. Когда, наконец, закончилась планерка и заведующие отделами, не очень весело переговариваясь, стали покидать кабинет, Ираклий оторвал взгляд от свеженького номера «Гармонии» и заискивающе улыбнулся девушке-секретарше (у которой «девичий» возраст остался уже далеко позади): «Доложите, что у практиканта Мургулия минутное дело». «Я сейчас не могу войти, он скоро сам меня позовет», — отвечала секретарша. Через пару минут и в самом деле зазвенел звонок. Секретарша вошла и сразу же вышла: «Сейчас принять не может, спешит», — сняла телефонную трубку и стала звонить в гараж. Вскоре в двери показался и сам редактор. Даже не взглянув на Ираклия, бросил секретарше «Буду через час» и вышел в коридор.

После перерыва редактор вернулся. Сначала позвал ответственного секретаря редакции и полистал газетный номер, потом вызвал Любу Кирвалидзе. Люба пробыла в кабинете редактора довольно долго, а когда вышла, на ней буквально лица не было. Подошла к Ираклию, сняла очки, внимательно всмотрелась в практиканта, вздохнула и с деланным спокойствием сказала: «Идите, мы говорили о вашем очерке».

Войдя, Мургулия долго стоял у двери. Герваси Имандзе, конечно, сразу же заметил его, но наказал назойливого практиканта тем, что не дал ему возможности приблизиться. Наконец он сообразовал поднять голову и бросил недовольным тоном:

— Слушаю вас, только короче.

— Я, батоно Герваси, практикант, Мургулия. Мне надо кое-что, совсем немного, исправить в моем очерке.

Редактор взял с правого угла стола испещренную большими красными вопросительными знаками рукопись и жестом предложил Ираклию сесть.

— Знаете что, мой милый. Вы уже второй раз являетесь исправлять, не так ли? И, уверен, еще не раз придете. А знаете, почему? Запомните раз и навсегда: журналист должен сто раз взвесить то, что собирается сказать, продумать, обработать все как следует — и только после этого давать материалу ход. Если авторы вот так без конца будут бегать ко мне исправлять сданные материалы — газета наша далеко не пойдет. Но дело не в этом. Я прочел ваш очерк, и он мне не понравился. Вы чересчур дали волю фантазии. Журналистика же не любит фантазию и вымысел. Надо говорить о фактах, о конкретных делах. Кроме того, тон ваш слишком патетичен, лозунгами говоришь как раз ты, а не герой очерка, как его фамилия?

— Чачуа.

— Да, Чачуа. И потом ты с самого начала пишешь, что просил его заверить тебе справку без медицинского осмотра. Поверит ли тебе после этого читатель? Ты сам толкаешь человека на мошенничество. А там, где речь идет о том, как люди выходят из машины? Это уже совсем не журналистика, такое можно написать в рассказе, в очерке это лишнее. И вообще, сказать по правде, очень уж туманная у тебя позиция. Вот ты тут пишешь: «Словно тебя снова поставили в строй, снова вернули в ряды бойцов». Что это значит? Значит ли это, что ты, журналист, был выбит из этого строя, а Чачуа тебя в него вернул? Кем же тогда мы все получаемся? Так что давай договоримся так: очерк твой мы печатать не будем. Очерк написать совсем не просто. Но ты не отчаивайся. Вовсе не обязательно начинать сразу с очерка. Сначала набей руку в других жанрах. Что же касается очерков, то они не только тебе, но и мне, с моим богатым опытом, нередко даются довольно мучительно.

Надо ли говорить, что практикант Мургулия вышел из кабинета редактора в дурном настроении? Его даже не так удручал отвергнутый очерк, как мысль о том, что он скажет Раждену. Правда, Люба Кирвалидзе целый час уверяла его, что не согласна с редактором, что ей очерк очень нравится, что он как раз украсил бы газету, но изменить положение дел она не могла. Вообще на тот случай, если у вас, мой дорогой читатель, когда-либо появятся дела в редакции, знайте, что если мате-

риал не понравится главному редактору, он никогда не будет напечатан, можете мне поверить.

Прошла неделя. За это время Ражден звонил несколько раз и просил внести в очерк одну значительную и несколько незначительных поправок. Значительная поправка состояла в том, чтобы упомянуть в очерке еще об одном сыне. У Раждена, оказывается, был сын от первой жены. Правда, с отцом он не встречался (мать его так настроила), и Ражден был на него сердит, но, как бы там ни было, сын есть сын, так что о нем тоже надо написать. Что же касается менее значительных или совсем незначительных поправок, то приводить их здесь я не буду, дабы окончательно не наскучить и без того утомленному читателю и не заставить его отложить чтение этой новеллы на неопределенный срок.

По прошествии дней десяти звонки и бесконечные вопросы Раждена приняли систематический характер. Не буду скрывать, не смог Ираклий сообщить ему результаты своего последнего визита к редактору, скрыл от него и горькую правду о том, что очерку не суждено было увидеть свет.

Ражден не давал прохода будущему журналисту. Подстерегал в раздевалке бассейна, утром и вечером названивал по телефону, несколько раз даже в общежитие наведывался. У Ираклия лопалось терпение, он сгорал от стыда, от своего бесконечного вранья. Его мучила совесть, что сразу же не сказал всю правду этому почтенному человеку. Но чем дальше, тем труднее становилось посвятить его в плачевную участь очерка. Ираклий знал, что врач плавательного бассейна без конца бегал к газетному киоску, чтобы опередить почтальона и раньше других увидеть напечатанный на одной из страниц «Гармонии» очерк под названием «Примерный гражданин». Знал Ираклий, что Ражден буквально умирал от нетерпения увидеть на газетной странице свой портрет, портрет улыбающегося врача с увешанной орденами грудью. А очерк все не появлялся. В конце месяца, когда Ражден как-то навел на него рано утром и, дрожа от волнения, срывающимся голосом спросил: «Не изменилось ли что? Не скрываешь ли ты что от меня? Почему до сих пор не напечатали?» — Ираклий поднял на Раждена взгляд побежденного фельдмаршала и проговорил: «Очерк не будет напечатан».

«Почему?!» — чужим голосом спросил Ражден. «Не будет — и все. По независящим от меня причинам. Прошу вас, поймите меня правильно, я не все могу вам сказать». Особенно понравилась Ираклию его последняя фраза. Кажется, нашел выход, — решил он, но он ошибся. «Аах... Ясно, ясно. Я ждал этого. Я все время ждал чего-то такого... Да...» Ражден глянул в сторону. «Что вы?!» — Ираклий весь обратился в слух. «Да нет, ничего, всего вам доброго!» — неуверенной походкой слепого Ражден направился к двери.

* * *

Будущие журналисты успешно прошли практику в редакции газеты «Гармония». Зачеты и характеристики получили все.

Ираклий Мургулия перешел в другой плавательный бассейн. Не вынес ежедневного зрелища бледного лица и испуганных глаз Раждена, который как одержимый увязывался за ним в коридоре и бормотал: «Батоно Ираклий! Я хочу, чтобы вы знали правду. Моей вины в этом нет. Ну разве я виноват, что этот негодяй учился в нашем классе и у меня даже есть несколько фотографий, где мы сняты вместе. Это чистая случайность. Я вообще не дружил с ним и после окончания школы в глаза его не видел».

Ираклий понятия не имел, кого и что имел в виду Ражден, но в глубине души все же радовался, что врач сам откопал причину, по которой не был напечатан очерк, откопал в собственной биографии, избавив тем самым небогатую фантазию журналиста от выдумывания еще одного сюжета.

Месяца через полтора после этих событий, вечером одиннадцатого марта в газете появился маленький, без портрета некролог Раждену Чачуа. Этот некролог показался Мургулия еще более сухим, чем другие некрологи, которые обычно печатают газеты. «Если доживу до старости, непременно попрошу детей, чтоб ни в коем случае не печатали по мне некролога. Кому они нужны, эти наскоро состряпанные по заказу скорбящих родственников сообщения», — подумал Ираклий, складывая газету и засовывая ее в карман.

Перевод Людмилы КРАВЧЕНКО

ПАЦИЕНТ



УДК 82.09
ББК 84.030.01

ЗА мной занимал очередь мужчина, ты будешь за ним. Тебе не встретился внизу человек с тростью? Так вот он и занимал очередь, сказал, что скоро вернется. Ты посиди, подожди. Мне на пять минут, не больше, посмотрит меня врач и, если поймет что-нибудь, — хорошо, а нет, так будь здоров.

Даже побриться не успел, на лешего похож. С семичасовым автобусом приехал, второй только в полдень отходит, а после обеда разве застанешь врача? «Он на вызове!». Поди пойми, где он на самом деле. Какой-то странной болезнью больны люди в нашем городе, никто не хочет сидеть на работе. Чтоб увильнуть от работы, готовы на дирижабле в воздух подняться, не испугаются... Путаются под ногами всякие бездельники, суют нос в чужие дела: «Мы — комиссия!». Какая комиссия? Доверили дело, позволили проявить себя — дайте какой-то срок! Если кооператора постоянно держать за горло и проверять каждый его шаг, он, разумеется, сбежит. Хотя бы дать человеку и подработать, и в то же время хотят по-прежнему держать его в кулаке. Так не получится. Если будут постоянно наведываться то ревизия, то комиссия, с чего разумному человеку лезть в петлю? Устроится на работу, как все, и будет воровать, как прежде. Государственный карман велик, только успевай выгребать.

В следующую пятницу будет месяц, как обиваю пороги врачебных кабинетов. Я умудрился прожить пятьдесят четыре года без врачей и лекарств, даже клизму не ставил. А на этой неделе вот уж к пятому врачу прихожу. Про этого мне сказали, что хороший врач. Увидим, чего он стоит. Если и он ничего не поймет, поеду в Тбилиси: в конце-то концов должен я уяснить, обсуждают эти врачи что-нибудь или мы напрасно на них надемся.

Месяца полтора назад я отравился, видать, поел не то, к тому же на работе понервничал — и вот чуть было не отдал концы, с трудом вырвали из лап смерти. Столько сыворотки влили в меня, что я уж испугался, что разжижат кровь. Да, видать, и вправду человек не умирает раньше отпущенного срока. Справился я кое-

как, да вот от зуда никак не избавлюсь. Поначалу обратился я в нашу районную поликлинику, куда еще пойдешь? На что жалуешься, спросил дежурный врач. Я — больной, сказал я ему, а на что жалуюсь сами должны узнать, если вы настоящие врачи. А иначе чего здесь торчите!

Он послал меня к другому, другой к третьему, а я специально не говорил, что меня беспокоит. Представляешь? Ни один из них ничего не кумекает. Каждый выписал мне лекарство, дома у меня ящик набит рецептами. Ни в аптеку я не ходил, ни лекарств не покупал, что мне, жить надоело?

А здесь я уже две недели, у родственников остановился. Был я позавчера у одного. Говорят, хороший специалист. Молодой, в очках. Живет у поворота на кладбище. На что жалуетесь, спрашивает, я и говорю — на зуд жалуюсь. Долго он меня осматривал. В чем причина, дядюшка, не знаете? Ты меня спрашиваешь о причине? — говорю я. — Ты врач, ты и должен знать причину. Я-то знаю, но тебе не скажу. Что я, не прав? Он врач, так пусть сам догадается, пошевелит немного мозгами. Вертел он пальцами перед моими глазами, стучал молоточком по коленям и будто понял что-нибудь — выписал микстуру Сараджишвили. Нужна мне его микстура!

Эх, дорогой, вот такая у нас медицина. И эти врачи должны спасти людей от СПИДа и рака? Зуд у меня остался после отравления. Не думаю, чтоб нашелся больной с более простой болезнью, но я ничего им не скажу! Сами должны поинтересоваться, чем я болел, не отравился ли?

Должен же я, наконец, выяснить, какие у нас врачи! Покажусь этому, и если что не так, поеду в Тбилиси, обойду тамошних врачей.

Пока что терплю, не постоянно ведь чешется, только иногда. Вот сейчас, к примеру, я ничего не чувствую. Говоря откровенно, меня сейчас больше интересует вот что: неужели это правда, что больше половины из них получили диплом... сам знаешь, как. Я и этому не скажу, что зуд остался у меня после отравления, если он настоящий врач, сам догадается. Ты посиди, я недолго задержусь в кабинете. Что толку в моем сидении там, все равно он ничего не поймет.

НА РОСИСТОЙ ТРАВЕ...

УДК 82.01
ББК 84.001.003.01

ЭТОТ камин, дорогой Павлуша, я сложил сам. Не потому, что поспешил, просто печника не нашел,—нет печников. Может, они и есть где-то, сидят себе, ждут клиентов, но я не знаю, где их искать, и махнул рукой. Стены дома были уже возведены и крыша перекрыта, когда я решил построить камин. А в нашей деревне, оказывается, сначала строили камин, а уж потом возводили стены, сам я этого не помню, разумеется, отец рассказывал. Когда раздали нам эти участки, кто думал о каминах, все бросились заливать раствор в фундамент. Кто был предусмотрительнее, заложил дымоход, а у меня не было никакого опыта, вот и пришлось потом выламывать бетон на две пяди. Положил перед собой брошюру «Камин», выпущенную в серии «Садовое хозяйство», и приступил к делу. Между прочим, с виду камин получился прекрасный, но дымит. Я и дымоход удлинил, и площадь камина уменьшил на один кирпич, но никакого результата — нет тяги. Хотя не только мой камин дымит, но и те, что сложили мастера, не знаю в чем дело, может, место такое?.. Пошли во двор. Вот видишь саженьцы? Посадил четыре года назад, представь себе, мне кажется, тогда они были выше. И поливаю их, и удобряю навозом, все одно, не хотят расти, будто заговорил их кто... Не знаю, может, место такое?.. А это огород. Хорошо растут только кориандр и морковь. Как ни ухаживаю за помидорами, плоды только на соленья годятся, они так и не созревают, остаются светло-зелеными. Воду здесь привозят в цистернах, а у меня маленький бассейн, на полторы тонны. Привозить так мало шеститонными машинами шоферам невыгодно, они хотят получить свои двадцать пять рублей, уверяют, что с них много сдирает автоинспектор. Может, и врут, кто их поймет, шоферов-то. Но я, как видишь, нашел выход: подвесил к желобу пластмассовую воронку, которую соединил с полдюймовой трубой, идущей в бассейн. Стоит пойти дождю, как мой бассейн наполняется. А вот в засушливые периоды приходится туго, но и здесь я не сдался, поднимаю воду алюминиевыми бидонами с родника, он недалеко отсюда, километрах в пяти, если останется время, сходим.

Второй год пошел, как построил этот домик, и клянусь Эммануилом, не променяю его даже на каравансарай. На субботу-воскресенье непременно приезжаю сюда, работа всегда найдется. Воровства здесь меньше, чем в других местах. Как-то взломали мою дверь и украли гитару. Негодная была гитара, семирублевая, через каждые десять минут приходилось ее настраивать. Были в доме и другие вещи — старые рубашки, книги, но вор забрал почему-то только гитару. Раньше я запираю ворота на замок и воры перелезали через ограду. Она проволочная, как видишь, и мне жалко больше ограду, чем мотыгу и кирку, которую вынесли из этой хибарки. Вот я и прибил к воротам кусок фанеры с надписью: «Вниманию воров! Прошу ограду не ломать, ворота не заперты, входите смело». С тех пор как повесил эту табличку, ни один вор ко мне не заглядывал. А недавно кто-то украд и табличку и замок, непонятно только, для чего понадобился вору замок без ключей или на что ему эта табличка? Наверное, какая-нибудь скотина это сделала... Порой бессмысленное, нелогичное воровство раздражает больше. Существуют ведь злые и вредные по природе люди, они только и думают о том, что бы и где испортить. Наверное, просто у человека чешутся руки. Будь у вора хоть какое-нибудь чувство юмора (одно из качеств, отличающих человека от животного), совершил бы он этот поступок? Я не запираю ворота, запросто приглашаю к себе вора — улыбнись же и иди своей дорогой... Вот такие и разрезают кожаные кресла в театрах и гадят в лифте. Была бы моя воля, я бы судил их самым строгим образом, как особо опасных преступников.

В прошлом году я впервые провел лето на этой даче. Пусть слово дача тебя не пугает. Когда меня спрашивают, где я отдыхал, я решительно отвечаю — «на своей даче». В действительности же она записана как садово-огородный участок, а мой домик предназначен для того, чтобы в нем можно было укрыться в непогоду и хранить сельскохозяйственный инвентарь. Слово дача ассоциируется с каким-то комфортом, наслаждением и уж больно режет ухо. Дачи раздают другим, а мы довольствуемся садово-огородным участком.

Оказывается, если очень захотеть, можно построить не только такую конуру, как моя, но даже раздобыть лест-

лицу до самого неба. Ты-то знаешь мои возможности, какой я мастак доставать материалы и договариваться с мастерами, но я пожертвовал на это дело с таким трудом накопленные на «Жигули» копейки — и сунул голову в пасть льву. Да и друзья и родственники подсобили, одни подарили старые двери, другие подбросили оконные рамы. Повертелся я возле старых, подлежащих сносу домов и почти даром раздобыл кое-какой материал. Хоть и работали у меня мастера, самая тяжелая, черновая работа выпадала на долю моей семьи. Наконец перекрыли крышу, и в прошлом году, в начале июня, даже оштукатурили две верхние комнатки. Я не мог дожидаться дня, когда наконец смогу жить на своей каравелле.

Не долго думая, я объявил семье: это лето мы проведем на нашей даче. Жена возразила: строительство дома не закончено, нет воды, света, нет соседей, как можно там жить!

Но я был непреклонен, надоело из года в год унижаться из-за путевок, беспокоить знакомых. В конце концов, есть своя дача, где можно прекрасно отдохнуть от городской суеты. Третьего июля мы уложили на крышу моего «Запорожца» шезлонги и другой скарб, заехали на рынок, закупили продуктов на неделю и двинулись в путь.

Не поверишь, Павлуша, такого приятного лета, как прошлогоднее, я не помню. Думаешь, что мы замучились без воды и электричества? Ничуть! Разве можно сравнить незначительные бытовые неудобства с тем удовольствием, какое мы испытали?! Все лето я не мог избавиться от ощущения, что, наконец, после долгой разлуки мы все вместе. Мы в то лето просто нашли друг друга. Чувствую, что выражаюсь высокопарно, но в самом деле это было так. В городе каждый из нас жил своей жизнью, все вечера были похожи один на другой: просмотр газет, телевизор, разговоры по телефону, постель, до которой с трудом доползаешь с распухшей от дневных работ головой. А утром — тревожная трель будильника и рассерженный голос жены из кухни: «Ачи-ко, не забудь учебник географии... Ачи-ко, сегодня у тебя контрольная... Ачи-ко, что ты так долго возишься... Ачи-ко, говорила же я тебе вчера, чтобы ты вовремя лег... Ачи-ко, чай остыл!». Так засосал нас этот конвейер,

что мы даже не заметили, как потеряли друг друга. И только здесь, на даче, почувствовали, что мы самые близкие люди, а ведь в городе мы уже давно не разговариваем друг с другом тихо и спокойно. Крутимся, словно белка в колесе, и время от времени говорим друг другу скупые, необходимые в данный момент слова. Потом каждый из нас выходит на улицу и каждый погружается в свои заботы.

А здесь все лето мы были вместе. Правда, мы и раньше отдыхали втроем, но твое пребывание в санатории или в доме отдыха превращается в нечто утомительное, тебе не удастся побыть с семьей или же наедине с самим собой, со своими мыслями. Там каждый находит себе подходящую компанию: дети носятся со своими сверстниками, жены сплетничают с кумушками, а глава семьи, разодетый, сидит в тени, играет в нарды или ведет умные разговоры о политике. Не знаю как другие, но такой отдых меня скорее утомляет. Все время находишься в напряжении, словно на старте: как бы не опоздать к обеду, как бы дети чего не натворили... И разговариваешь с людьми, подыскивая нужные слова, ведь надо уметь поддержать разговор с человеком, с которым только познакомился. То и дело посматриваешь на часы, словно ждешь кого-то, будто кто-то должен прийти и забрать тебя с собой. Медленно тянется время от завтрака до обеда, от обеда до ужина. После ужина пристроишься у хриплого телевизора на вынесенном из собственной комнаты стуле или в душном зале посмотришь напичканный нескончаемыми глупостями фильм, возвращаешься поздно ночью усталый и расстроенный, а утром тебя будит орущий под окнами аккордеон, приглашая на зарядку.

А теперь представь себе, Павлуша, что утром тебя осторожно будит пробивающийся через окно робкий луч солнца, и вокруг тихо, как в храме. Далеко в лесу, если прислушаться, чирикает одинокая птица. Тишина, самая большая ценность нашего века, разлита здесь повсюду. Выходишь на веранду и, прислонившись к столбу, смотришь на задыхающийся далеко внизу в сером мареве город. Стоишь долго-долго и вдыхаешь прохладный, свежий, напоенный ароматом воздух.

Мягкой кошачьей походкой подходит к тебе жена и становится рядом. Она задвигает занавеси на балко-

не, чтобы солнце не разбудило сына. «Спит?» — спрашиваешь ты. «Даже не шелохнулся ночью», — тихо отвечает жена. «Видишь, он все время недосыпает. Телевизор — это самый страшный враг детей». «Здрсте, когда я гнала спать Ачико, он бросался тебе на шею, ты млел от счастья и все ему разрешал». «Да, когда показывали «Иллюзион», а он бывает раз в неделю. Это вы каждый день торчали перед телевизором до двенадцати часов! Все, отныне — никакой поблажки, с сентября в десять вечера он будет уже в постели». «Посмотрим». Крик сойки стрелой пронзает наш идиллический дуэт. «Явилась», — улыбается жена. Птица так привыкла к нам, что готова поселиться в доме. Она постоянно ошивается вокруг нашей единственной курочки, привязанной в конце двора (мы твердо решили ее не резать), скачет целый день, питается с ее стола и даже воду пьет из ее стеклянной банки. Когда я приближаюсь, она на всякий случай взлетает на ветку сухого дерева и кричит. На крик сойки на веранду босиком выбегает Ачико и спрашивает, протирая глаза: «Одна? Вчера с ней была еще одна». Увидев, что лесная гостья сегодня навестила нас одна, он говорит: «Скоро прилетит и вторая», набирает в кулачок пшено и идет к птице.

После завтрака мы идем к роднику. У нас полно вчерашней воды, но мы все одно идем, чтоб размять кости, прогуляться по лесу. Тропинка вьется среди молодых дубков и кленов, местами теряется и появляется вновь. Я иду впереди, опершись на палку, и оглядываюсь назад, когда в дуэте голосов жены и сына мне слышатся тревожные ноты: «Отпусти руку, я сам спущусь», или «Ачико! Свалишься, не видишь ветка совсем сухая!». Случается, мы втроем рассматриваем стебель незнакомой травинки и старательно вспоминаем, на какой странице краткой биологической энциклопедии она изображена и как она называется.

День кажется долгим и безмятежным, все успеваешь сделать, а впереди — уйма времени. Изредка мы соревнуемся в стрельбе из пневматического ружья. Выстрелы не по душе нашей сойке, она криком выражает свой протест и улетает. Вскоре она возвращается и устраивается рядом со своей приятельницей — нашей курочкой. Раньше курочка пугалась лесной гостьи, вскакивала и отбегала в сторону — насколько позволяла ей дли-

на веревки — и беспокойно поглядывала на завладевшую кормом дикарку. А потом она так привыкла к сойке, что не обращала внимания даже на ее крик, только взвзглядывает одним глазом на нее и продолжает деловито клевать.

С сумерками мы устраивались на веранде, когда небо темнело и зажигались звезды, мы пытались найти Большую Медведицу, следили за блуждающей звездой до тех пор, пока след ее не терялся в Млечном пути.

В дождь мы устраиваемся возле камина. В городе на тебя вдруг проливается невесть откуда взявшаяся грязная вода, а здесь, в горах, все иначе. Сначала природа подозрительно замирает, и по склонам гор пробегает тень. Потом поднимается ветер и все приходит в движение — деревья, кусты, белье на веревке. Ветер волной пробежит по траве и затихнет на секунду. Робко, словно предупреждая, иду, мол, ищи себе укрытие, закапает дождь, а потом вдруг обрушится в бешеной пляске на крышу дома.

Мы сидим перед камином и любимся огнем. Ты никуда не спешишь, никто никуда тебя не зовет. За окном шумит дождь, в комнате потрескивают поленья в камине, и кажется тебе, что ты на земле обетованной, и когда-нибудь вновь вернешься в суматошный город к своим делам, к телефону и телевизору.

Это говорю тебе я, дорогой Павлуша, человек, который позавчера подписался под коллективной жалобой нашего садового кооператива: «Сколько можно терпеть, — возмущались владельцы участка. — До сих пор к нам не провели электричество. Отдыхающие садоводы лишены элементарного комфорта. В каком веке мы живем!...».

Я попытался осторожно возразить человеку, который собирал подписи под жалобой: «Может, не стоит торопиться с электричеством. Я в прошлом году отдыхал без света и чувствовал себя счастливейшим человеком». Он бросил на меня подозрительный взгляд, не сумасшедший ли перед ним. «Электричество, между прочим, это не только свет. Допускаю, что без света можно как-нибудь прожить, но как можно жить без телевизора, без магнитофона!...»

Спорить не имело смысла, и я поставил свою подпись под длинным списком жалобщиков, которые насто-

ятельно требовали: поскорее окуните нас в шум, суету, фальшивые улыбки, несбыточные мечты и бессонные ночи, во все то, без чего мы уже не можем жить.

Перевод Д. БОРИСОВОЙ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ФЕРМОЙ

БЫВШИЙ эмигрант Карло Ломтадзе был назначен заведующим животноводческой фермой села Доберазени. Карло вернулся из Швейцарии. Читатель, верно, догадывается, что это все не так-то просто. Вначале мы расскажем, как попал Карло в Швейцарию и чем он там занимался, а затем поразмыслим над тем, какие мотивы в один прекрасный день привели Ломтадзе к дверям советского консульства с просьбой разрешить вернуться на родину. Не помешало бы выяснить и то, почему Ломтадзе назначили заведующим фермой, а не, скажем, нотариусом или начальником районного архива.

Существует шесть способов переехать на постоянное жительство за границу: попасть в плен во время войны, на рассвете крадучись выйти из туристической гостиницы и попросить политического убежища, угнать самолет, пересечь границу—морем вплавь, а по суше в войлочных тапочках, жениться на еврейке, родиться в семье эмигрантов. Карло избрал самый безболезненный из них (во всяком случае для него), он оказался там волею случая, от него не зависящего. Он появился на свет в селе неподалеку от Женевы в семье эмигрантов — Силибистро и Матроны Ломтадзе как следствие их законного брака. Пока у читателя, желающего немедленно узнать все обстоятельства этого дела, не возник вопрос, как очутились в самом сердце Европы родители Карло, опережу его и скажу. Молодежь, отправившуюся на учебу в Женеву, застигли там исторические события 1921, 22 и 24 годов. Буржуазные газеты на все лады кричали, что всех бывавших за границей людей большевики сажают в тюрьмы, а тех, кто получил там образование, вешают без суда и следствия.

Не скрою, что будущих родителей моего героя эта перспектива испугала. Ничего не придумав сразу, они решили пожениться (хоть вместе, думали, будем) и поселиться в окрестностях Женевы. Но отдадим им должное, они умерли, так и не приняв швейцарского подданства. Правда, в этом им помогли и местные власти. Как известно, Швейцария не дает эмигрантам подданства.

Карло осиротел еще до войны. Солдатскую шинель он так и не надел, и на то была серьезная причина — от рождения он был кривобоком и хромым. Ураган войны коснулся его так, как мог коснуться человека, не занимающегося политикой, живущего в окрестностях Женевы. Во всяком случае, он не продал душу сатане, иначе с него спросили бы. Семей Карло не обзавелся, жил один. Когда стране было тяжело, и Карло приходилось несладко. Но затем наступил мир, и вот тут, когда Швейцария взяла курс на разумную политику невмешательства, тут и Карло крепче стал на ноги. Я говорю, разумеется, об экономической стороне дела, поскольку борьба идей и политические страсти были чужды ему с детства. Газеты он ненавидел, читал только коротенькие рассказы и занимался коровами. В войну у него было три коровы, потом семь. Коровы целый день жевали жвачку у него во дворе, или как говорят на западе, на ферме. Если я скажу, что ферма Карло была оборудована по последнему слову техники, это будет сильным преувеличением. Скотина стояла в старых немецких яслях, доил он ее доильным аппаратом «Лейпциг-3» устаревшего образца, молоко держал в алюминиевых бидонах, мацони заквашивал в баночках, был у него еще прибор для проверки жирности молока, скребница и бочки для корма — вот и вся техника на ферме. Да, у него еще был грузовой «кадиллак» первого выпуска. Дважды в день ездил Карло в Женеву на своем старом разбитом «кадиллаке»: на рассвете вез туда мацони, вечером же молоко. Все это он сдавал в реализационную фирму «Жозефина». В конце месяца получал положенные ему марки и клал их в банк. Деньги на содержание фермы (да и на личные нужды) держал в незапиравшейся тумбочке возле кровати. Когда ему исполнилось сорок, у него появились другие интересы, он чувствовал: что-то должно было измениться в его жизни, слишком все было неинтересным и бесцветным вокруг. Грузинский, ес-

тественно, он знал плохо. В детстве мать его учила писать и читать, но помнилось все это смутно. И вот внезапно в его жизни возникла грузинская тема, грузинские интересы. Он достал где-то самоучитель грузинского языка, нашел грузинские книги и вслух, запинаясь, читал их. Потом прочел все, что было написано о Грузии в немецких энциклопедиях, и, представьте себе, дошел до того, что стал читать газеты, а вдруг, думает, где-нибудь напорюсь на информацию о моей далекой родине. Что же это могло быть такое, от чего потерял покой безмятежно живущий швейцарский фермер?! Может, зов крови? Сам Карло не смог бы ответить на этот вопрос. Но факт остается фактом — чем больше узнавал он о своей родине, тем больше гордился тем, что он грузин. И вот, когда ему стукнуло шестьдесят, он понял, что должен вернуться к себе на родину и там тихо закончить свои дни.

Сначала его тщательно, как водится, проверили в Женеве. Затем уже в Грузии ему деликатно отсоветовали селиться в наполовину опустевшем селе Жвери, где жили его предки (село находилось в зоне лавин и оползней, нельзя же было подвергать опасности вернувшегося из-за границы человека). Два месяца он жил в районном центре в гостинице. Затем, убедившись, что Карло не проявляет никакого фотографического интереса к секретным объектам, а также в том, что в его чемодан не вмонтирован тайный передатчик, сочли возможным вовлечь Ломтадзе в общественно-полезный трудовой процесс. Приняв во внимание профессиональные интересы Ломтадзе — увлечение коровами в окрестностях Женевы — предложили ему пост заведующего животноводческой фермой села Доберазени. Уставший от безделья Карло охотно согласился. Доберазенская ферма из двухсот шестидесяти семи коров, правда, не являлась образцово-показательной, не упоминалась в числе передовых, но и отстающей ее нельзя было назвать. Это была ферма из средних. Я должен вам открыть один секрет — поначалу его хотели послать на чарчмиетскую, наполовину пустующую ферму, но секретарь райкома воспротивился: «Все-таки он приезжий, послать его на эту паршивую ферму, значит, окончательно испортить впечатление о нас».

В тихий безветренный июньский вечер начальник

райагропрома Кудигоридзе и Карло Ломтадзе приехали на ферму. Представив Карло собравшимся, Кудигоридзе сказал, что отныне он будет их заведующим. Не скрыл он и того, что у Ломтадзе — уроженца Швейцарии, большой опыт работы в животноводческой отрасли. Сотрудники фермы уже знали о Ломтадзе и, естественно, знали о нем больше, чем могли уяснить из выступления Кудигоридзе. Как и положено, сообщение о назначении заведующего встретили аплодисментами и разошлись.

В тот день новый заведующий в белом халате, как экскурсант, обошел всю ферму и все осмотрел. На другой же день все узнали, что Ломтадзе вовсе не собирался оставаться в должности «почетного заведующего» — он собирался делать дело.

Утром, когда полные молока бидоны погружали в машину, в комнату Карло вошел мужчина в кожаной куртке и положил перед ним на стол бумагу.

— Простите?.. — поднял очки на лоб Карло.

— Экспедитор Тодадзе, — представился мужчина.

Карло подписал бумагу. Этому он научился еще в Швейцарии — раз дают подписать бумагу, значит, надо.

— Простите, но что такое экспедитор? — спросил заведующий фермой.

— Я сопровождаю машину с молоком.

— Вы шофер?

— Нет, шофер — другой. А я сопровождаю продукцию, в данном случае молоко, чтоб оно было в целости доставлено к месту.

— Вы — грузчик?

— Нет, грузчик встретит нас там.

— Да, но что же вы в таком случае делаете?

Тодадзе улыбнулся, посмотрел по сторонам и, понизив голос, сказал:

— Разве можно доверить молоко шоферу. Это вам не Швейцария. Он может в дороге долить в бидоны воду.

Карло растерялся. Сначала он подумал, что Тодадзе шутит, и попробовал засмеяться, но, взглянув на экспедитора, умолк.

— Он что, больной?

— Кто, уважаемый?

— Шофер, кто же еще.

— Именно потому что не больной, он и делает это. Из тридцати бидонов пять он продаст на базаре, а вместило молока дольет воду.

— То есть, вы хотите сказать, что он вор? — Карло открыл окно и оглядел возившегося возле машины водителя, смотрел он так, как смотрят школьники на дядю, у которого, если верить маме, в кармане лежат ножницы, которыми он отстригает уши непослушным мальчикам.

Но заведующий фермой позволил себе усомниться в словах экспедитора. Если водитель был замечен в краже молока, почему его до сих пор не арестовали, если же тут вообще принято доливать в молоко воду, где гарантия, что они не сделают это темное дело вдвоем и с большим успехом.

Карло потерял покой. Встречая водителя или Тодадзе с бумагой в руках, он поеживался. Ему казалось, что шофер и экспедитор ненавидят друг друга, ведь один из них постоянно, как кошка — мышь, подстерегал другого.

Кроме всего прочего, Карло удивляло и еще одно: целый день на ферме крутилось множество людей (заведующий не успел со всеми перезнакомиться), а вот утром и вечером, когда острее всего была нужда в рабочих руках, большинство сотрудников фермы испарялось. Возле коров крутилось около пяти доярок — молодых девушек, а по утрам скот на пастбище гнали два пастуха — Шако и Меленти.

Ломтадзе страстно хотел узнать, что за народ такой толпится днем на ферме, но так и не смог. Когда он останавливал кого-нибудь из них и спрашивал: «Простите, какую должность вы тут занимаете?», ему называли нечто непонятное, но заведующему становилось неловко переспрашивать своего подчиненного, какая такая миссия возложена на него. Причин для недовольства как будто бы не было. Все были заняты, вроде бы никто без дела не ходил. У всех были вдохновенные лица. Ветврач и фельдшер целыми днями писали что-то в конторские книги о здоровье коров. Председатель месткома Нодар Карцивадзе неустанно заботился о соблюдении трудового законодательства, председатель народного контроля Цотадзе целый день ходил по задам фермы со скрещенными на груди руками и что-то бормотал, заме-

ститель заведующего фермой Шакро Глonti нескончаемо ругался, пропагандист Нора Абуладзе, если успевала выловить кого-нибудь вечером, тут же усаживалась читать ему газету, а днем сочиняла и рисовала плакаты. Культработник Нуно Мчададзе — застарелая дева — взяв в руки пандури в полнейшем одиночестве пела, глядя на луну с эстрады под открытым небом, принадлежащей ферме. А пять девушек-дойрок и два пастуха смотрели за скотиной так, как могут смотреть пять дойрок и два пастуха за стадом в 267 коров и почти таким же количеством телят.

Шло время. Кончилось лето. Дни бежали за днями, а швейцарский заведующий фермой так и не мог что-либо изменить в работе фермы. Тут все шло словно бы по раз и навсегда заведенному порядку. Карло, иногда загораюсь, обращался с горячими призывами к своим сотрудникам: «Телятам не хватает корма, кругом антисанитария, интенсивность доения коров очень низкая, давайте с большей охотой делать свое дело, ведь это же в ваших интересах!». Сотрудники фермы молча выслушивали его, как будто даже соглашаясь, но призывы заведующего тут же предавались забвению.

Однажды он велел Глonti: «Предупреди людей, завтра — санитарный день, утром выгоним скот и начнем уборку коровника». Шакро, как видно, людей «предупредил» — на следующее утро на уборку коровника явились заведующий фермой и две девочки-дойрки. Сам Шакро срочно уехал на совещание в район, а остальные, вздыхая, сетовали на то, что уборка коровника не предусмотрена спецификой их должностей.

Заведующий фермой заглянул в красный уголок и попросил сидящую там статную девушку в голубой кофты, ушедшую в свои девичьи мысли, помочь им в уборке коровника. Девушка закивала головой, сейчас, мол, конечно, конечно, и вышла в другую дверь. Минут через пять вошел нарядный Нодар Карцивадзе и торопливо зашептал заведующему на ухо: «Эта девушка прибыла сюда по комсомольской путевке, работает из-за стажа. Через день о ней пишут газеты, потому что она сразу после школы пришла на производство. Она и депутат сельсовета. Ну прошу тебя, дорогой, оставь ты ее в покое, она не выносит запаха навоза, как бы не сбегала». «А что она вообще делает на ферме?» — робко

спросил председателя месткома Карло. «Вообще-то ничего. Она должна сидеть как доказательство того, что на ферме работает молодежь, должна отвечать на вопросы журналистов и улыбаться фоторепортерам на фоне коров. Теперь такие девушки есть не только у нас на ферме, а и в любом другом учреждении». Карцивадзе счел, что достаточно осветил этот вопрос, и, словно бы что-то вспомнив, стремительно вышел. Зайдя в свой кабинет, он закрылся и предался мыслям, которые соответствовали его высокому духовному интеллекту.

Бывший эмигрант же постепенно приходил к неприятной мысли о том, что на этой ферме сотрудникам вменяется в обязанность все, что угодно, только не уход за коровами. Эта мысль приводила его в скверное настроение, но он все же надеялся, что не сегодня так завтра удастся преодолеть фальшивый, показной энтузиазм работников фермы и направить их энергию непосредственно на коров.

Как-то раз Нора Абуладзе, расстелив на траве куски красной бязи, неделю что-то рисовала на них. На одном из изготовленных лозунгов было написано: «Увеличим надои молока на 300 килограммов с каждой фуражной коровы», на другом — «Увеличим средний вес крупного рогатого скота до 370 килограммов», на третьем — «Достигнутое — вовсе не предел!». Долго ходил вокруг этих плакатов Карло, затем, улучив минутку, когда Нора осталась одна, спросил: «Вообще-то эти лозунги, конечно, хороши, но почему именно на 300 и 370 килограммов, ведь это же не совсем от нас зависит?».

— Усердием всего можно добиться, — отводя в сторону глаза, сказала Нора.

— Усердие — это прекрасно, но если не уродится трава? Кроме того, в этом месяце нам не завезли отрубей. И потом есть ведь и другие обстоятельства.

Нора засмеялась.

— В том, что нам не завезли отруби, виноваты вы, уважаемый Карло. Послали бы Шакро Глonti, он бы бисренько уладил это дело. И вообще, если не заинтересовать работников склада, нам ничего не дадут. Разве у вас в Швейцарии не так?

Ломтадзе кивнул, да, мол, именно так. На самом же деле он никак не мог взять в толк, чем нужно заинтересовать заведующего складом, чтоб тот дал отруби.

— Что же касается этих плакатов, — продолжала Нора, — их уже давно надо было повесить. Мы опоздали — это плакаты соцсоревнования.

— Чего? — приложил руку к уху Карло.

— Соревнования, — чуть ли не по слогам произнесла Абуладзе.

— А с кем мы соревнуемся?

— С животноводческой фермой села Чукчукия в Якутии.

— Как же мы с ними соревнуемся на таком расстоянии, и почему соревнуемся, что они нам сделали? — искренне и даже с некоторой долей наивности удивился Карло. Но Нора уклонилась от ответа на этот вопрос под предлогом того, что ей нужно принести стремянку. Идя за стремянкой, Нора невольно задумалась, действительно, а для чего соревноваться на таком расстоянии. Но возвращаясь, она уже думала о другом. И стремянку, по правде говоря, не принесла.

Ломтадзе одиноко бродил по доберазенской ферме и не переставал удивляться тому, что единожды созданная по божьей воле ферма все еще функционировала. Он не мог понять, каким чудом выполнялся план, когда во всей ферме не найти было человека, который не брезговал бы взять в руки скребок. Все сидели словно бы на иголках, словно бы случайно, на минутку заглянули на ферму передохнуть, а там вскоре продолжить службу каждый на своем высоком поприще. Так думала та девочка, которая сидела на ферме ради стажа и, представьте себе, даже Шакро Глonti, заместитель заведующего, думал так, он был членом кружка соискателей степени и по ночам корпел над своей диссертационной темой.

Когда на ферме по случаю приезда высокого гостя зарезали второго за неделю теленка, свалив в документах все на волка, Карло собрал свои пожитки и уехал, не попрощавшись со своими бывшими сотрудниками. Это случилось через четыре месяца и семь дней после его назначения.

— Ведь вы говорили, что разбираетесь в животноводстве, что у вас была ферма в окрестностях Женевы? Неужели вам так быстро все наскучило? — спросил

секретарь райкома бывшего эмигранта, внимательно ознакомившись с его заявлением.

— Не знаю... Я думал, что разбираюсь... Но у вас тут совсем другие фермы. Я растерялся, черт-те что... Вы уж простите меня... Видимо, старею... — бормотал Карло, глядя себе под ноги.

И получил новое назначение — заведующим районной библиотекой. Он и сейчас там работает.

ОПАСНОСТЬ

ДА, осторожность не мешает, уважаемый. Правда, нельзя все заранее предугадать и распланировать, но... осторожность не мешает. Надо уметь крутиться и вертеться так, чтоб тебя с головой не накрыло волной. Нужно стараться самому строить свою жизнь, чтоб не жалеть потом, как жалею я, зачем, мол, сделал то-то и не сделал того-то. Вообще-то раньше другое было время, легче было испортить человеку жизнь, в большом ходу были злое слово и доносы, но и в нынешнее время нельзя слепо следовать течению дней своих. Самому надо держать шест, самому править плотиком своей жизни. Тако, уважаемый. Все нужно делать с умом. И даже тогда может стрястись беда, как стряслась она со мной. Целый год я сидел. Арестовали меня в январе 1945 года, а выпустили в феврале 1946. Сейчас расскажу, как это было. А знаешь, зачем я тебе это рассказываю? Ничему не удивляйся, может статься и так, что тучи внезапно соберутся над твоей головой, а ты и знать ничего не знаешь, и ведать ничего не ведаешь. Еще горше, когда попадаешь в ловушку по своей глупости и наивности. Клянешь себя на чем свет стоит, теряешь веру в себя. Если совесть твоя чиста и ты невиновен, как было со мной, не теряешь надежды на то, что рано или поздно поймут, что ты не виноват. Надежда — великая вещь... Надежда дает силы выдержать беду. Потерявший надежду, отчаявшийся человек — самое жалкое зрелище на свете.

Детство мое прошло в Мцванэквавила¹. Мой отец

¹ Один из районов Кутаиси.

был учителем астрономии, но, поскольку зарплаты его не хватало (нас было четверо ребятишек), он работал еще и художником в исполкоме. Он умел красиво выводить буквы и писал лозунги. На траве во дворе нашего дома, на лестнице веранды — кругом были расстелены полотнища кумача, и как сейчас, я вижу своего отца, с кистью в руке склонившегося над ними. Я был в девятом классе, когда по соседству с нами поселился немец. Не представляю, откуда взялся в Кутаиси немец, говорили, с первой мировой войны, мол. У него была жена-туркменка и дочка, которую звали Кларой, век, наверно, буду их помнить. Они не то купили, не то сняли сванадзевский дом, который был четвертым от нас. Долгое время никто не жил в том доме — всю семью Сванадзе унес тиф, на воротах висел огромный замок. Изредка наведывался какой-то родственник из Годогни. Вероятно потому, что вся семья погибла, дом этот вселял в нас, ребят, страх и почтение. Даже за фруктами никто не лазил в поросший бурьяном двор. Раз в год приезжал тот родственник — хромо́й мужчина в мягких чувяках, открывал двери, выносил на веранду стул и садился. Посидев так до вечера, он отправлялся восвояси. Ни разу мотыгу в руки не взял, чтобы вокруг деревьев землю взрыхлить. Почему, никто в толк взять не мог.

Но поселился немец, и дом стал похож на дом, а двор — на двор. Все вычистили, прибрали, дом в три цвета покрасили, крышей новой, сударь мой, цинковой перекрыли. Деревья окопали, известью побелили, подрезали, ветви лишние обрубали. В общем зацвело у них там все, красота! Короче, не мне тебе говорить о немецком трудолюбии. Через короткое время во двор Сванадзе приятно было заглянуть. А какие они были хорошие, дружелюбные соседи! По-грузински, кажись, лучше меня говорили. Клару, разумеется, отдали в школу, она на год младше меня была, я был в девятом, она — в восьмом. Это было в 1929 году. Все-таки коротка жизнь человеческая, я помню так, словно вчера все это было, а ведь больше полувека прошло! Оставь, пожалуйста, человек — ничто, ничто и все тут!

Ко мне эти немцы, по правде говоря, хорошо отнеслись, сам не знаю почему. Я был тихим, послушным. Нет, были и у меня по молодости лет какие-то заскоки, но камнями я не бросался и не бесился, как некоторые.

Взрослым в глаза заглядывал, как бы услышать что-либо умное. Клару воспитывали в строгости, каждую минуту, проведенную вне дома, проверяли. Но мне доверяли так, что если бы сказал, отпустите, мол, ее со мной глухой ночью в темный лес, отпустили бы. Видная была девочка, ничего не могу сказать. Стройная, как кипарис, черноглазая, с прямыми русыми волосами. В школу мы ходили вместе. Если занятия ее кончались раньше, она не уходила, сидела и ждала меня, ни с кем больше не ходила. Не скрою, что поначалу мне все это не очень нравилось. Раньше в Кутаиси мальчишек нашего возраста, которые ходили по улицам с девочками, называли трусами. Но постепенно я привык, и если ее не было рядом, мне становилось не по себе. Мне казалось, что всю жизнь я должен ее защищать и быть рядом. Красивая она была девочка, и, разумеется, в старших классах среди мальчиков началось великое брожение. Клара ни с кем не желала разговаривать, и записки совали в руки мне, используя меня в качестве передатчика витиеватых предложений любви. Ну а потом, поскольку и я не был деревянным и поскольку в этом возрасте именно этого и можно было ожидать, я сам влюбился в Клару. И она, как мне казалось, не была равнодушна ко мне. Однажды по дороге из школы домой я набрался решимости и признался ей в любви. Она — ни слова в ответ, ждала она этого или нет, — не знаю, разве поймешь девчонок? Еще крепче прижав портфель к груди, низко опустив голову, она ускорила шаги. Я, словно онемев, шел рядом. «Какой же я дурак, — мысленно ругал я себя, — что я наделал, вдруг она со мной не захочет больше говорить, вдруг я навсегда спугнул ее». Я был тогда в одиннадцатом классе, а Клара в десятом. Это случилось 29 октября, был вторник. Всю ночь я не спал. Я не представлял себе, как я утром пройду мимо Кларинаго дома и она не будет стоять у ворот, прижимая к себе желтый портфель с двумя замочками. Но она стояла и ждала — счастливее меня не было в тот день человека. Точно так же, как вчера, прижимая портфель к груди и низко опустив голову, она приблизилась ко мне и, подняв на меня взгляд больших черных глаз, сказала «Доброе утро». И этим было сказано все! Мне не нужно было другого ответа. Разве нужно говорить о том, как дорога стала Клара для меня с той минуты? Благосло-

венный это все-таки возраст — пятнадцать-семнадцать лет! Мы внезапно оба словно бы успокоились. Клара стала еще более задумчивой и тихой. Я почувствовал себя рыцарем — пусть попробовал бы кто-нибудь сказать хоть слово этой девочке! Родители не узнали ничего. Не знаю, может и догадывались, но нам не говорили. Ну что, продолжить мне эту красивую историю первой любви? Что я смог бы сказать нового, ты, верно, испытал то же самое. Самым большим счастьем для нас было видеть друг друга, мы строили планы на будущее, если находили укромное местечко — обнимались и целовались. Блаженно то время, блажен вкус того поцелуя, это не передать никакими словами! Все слова бессильны, когда речь идет о чувствах.

Я окончил школу, и меня призвали в армию. В тот вечер, когда меня провожали родные и близкие, пришла Клара и принесла мне в подарок портсигар отца и платок, на котором по-немецки было вышито мое имя. Я не вытерпел и при всех обнял ее, из глаз наших полились слезы. Скрывать дольше не было смысла, и я объявил своим родителям, что люблю ее и, вернувшись из армии, женюсь на ней. «Будь по-твоему, сынок, — сказал отец, — она хорошая девушка и нам очень нравится». Мама, царство ей небесное, ничего не сказала, прижала плачущую Клару к груди и разрыдалась сама. Так и осталась эта картина в моей памяти — обнявшиеся моя мать с Кларой.

Наша часть стояла под Ростовом. Первые три месяца все было хорошо. Если я посылал одно письмо домой, два тут же писал Кларе. Она отвечала очень аккуратно. Я бы с удовольствием перечитал ее письма сейчас, но, увы, когда меня арестовали, мои родные немедленно уничтожили их.

Я не надоел тебе, нет? Я скоро кончу, Иmano. На четвертом месяце пребывания в армии я получил от Клары письмо. «Мы, — писала она, — возвращаемся в Германию. Я перепробовала все, но у меня ничего не вышло. Подробно тебе напишет мама. Я буду жить надеждой, что увижу тебя. Когда я стану самостоятельной, приеду и до самой смерти буду рядом с тобой». Меня словно оглушило, но что я мог сделать? Потом пришло письмо от моей мамы. Она писала, что Клара убивалась, молила отца оставить, не увозить ее. Нака-

нуне отъезда она пришла к нам домой, перебирала мои вещи, прижимала к груди мои учебники, сумку. Сердце разрывалось от жалости на нее гляючи, писала мама. В какой-то момент отец ее заколебался, оставлю, говорит, и родители мои согласны были. На следующее утро бросились, чтоб устроить все это. Но куда там! Разве кто оставил бы Клару, если б были расписаны, другое дело, а сейчас нельзя, сказали.

Вот так она уехала, и я потерял ее навсегда, мою Клару. Ни письма от нее, ни весточки. Кто знает, может и писала, но в те годы почта из других стран, во всяком случае для нас, простых людей, не работала. Вернувшись из армии, я окончил филологический факультет университета, и меня по распределению направили директором школы в Квахчири. Еще два года я ждал Клару и наконец перед войной женился.

На фронт меня не взяли. У директоров школ, как известно, была броня. Я работал в тылу, работал на совесть, день и ночь. Помимо школы я дежурил в райкоме, был организатором призывного пункта, председателем комиссии по оказанию помощи семьям мобилизованных, ходил вместе с агентами заготовки — собирал для отправки на фронт продукты и вещи для солдат. Одним словом, делал дело, как все, кто оставался в тылу.

В январе 1945 года меня арестовали, как я уже тебе говорил. Но разве может быть так, что человек, которого арестовали, ни в чем не виноват, но и те, кто арестовывал, тоже были бы невиновны? Вот так было со мной. Я оправдывался, как мог, но когда меня осудили, я даже не обиделся на тех, кто судил. На следующий день после ареста следователь положил передо мной гитлеровскую гербовую бумагу. Это был список будущего немецкого правительства Грузии. Немецкий я знал достаточно для того, чтоб разобраться в написанном. Фашисты, думая, что возьмут Грузию, объявили ее одной из губерний германской империи и создали правительственный кабинет из лиц, наиболее преданных империи. В этом списке одним из бургомистров Западной Грузии был назван я. Тогда я, разумеется, ничего не знал о зеленой папке Гитлера. Это теперь уже известно, что фашистское правительство в Грузии создавалось по мысли Гитлера, временно, у них были далеко идущие

щие планы — выселить всех грузин и превратить Грузию в край отдыха и туризма для рейха. Еще немного, и я бы спятил. Откуда, почему? Как я оказался в списке преданных Гитлеру людей? Или в чем они усмотрели мою преданность? Взволнованный, я объявил следовательно, что это очередная провокация гитлеровцев, которые хотели бы расправиться с преданными коммунистами руками самих же коммунистов. «Нет, — сказал мне следователь, — этот документ найден в гитлеровском штабе во Владикавказе, когда они оттуда драпанули». «Но это не меняет дела», — настаивал я. Тогда следователь положил передо мной бумагу, найденную в том же штабе. Это было письмо от Клары ко мне, написанное по-грузински. «Моя жизнь сложилась так, писала мне Клара, что я стала женой гитлеровского генерала. Не думай, что я хоть на минуту забыла тебя и Кутаиси. Как я хочу увидеть тебя хоть раз! Не знаю, получишь ли ты это письмо, но верь, я молюсь о тебе. Что может сделать для тебя женщина, не занимающаяся политикой? Я попросила мужа помочь тебе, и он тебя поддержит. Прошу тебя, не упрячься и не отказывайся от кресла, которое тебе предложат. Знай, на земле нет силы, которая могла бы противостоять Германии, и не вздумай сопротивляться. Если ты погибнешь в этой войне, не будет женщины несчастнее меня на этом свете. Я живу надеждой встретиться с тобой».

Когда я читал это письмо, немцев и след простыл из нашей страны, остатки этих каннибалов наши войска гнали к их логову.

Я отбыл наказание, и слава богу, мне дали возможность доказать, каким я был на самом деле.

Теперь уже, наверно, кости фрау Клары и ее мужа уже давно в земле, но как вспомню, страх толкается мне в грудь. Если б действительно все повернулось иначе и по милости Клары мне предложили стать бургомистром, ведь я б точно покончил с собой!

Не вспомню даже, зачем я тебе все это рассказывал. Да, видимо, я хотел сказать, что никто не знает, где его подстерегает опасность, и как перевернет его жизнь какая-нибудь «не зависящая от него» причина.

И еще: есть одна гениальная пословица: «Человек предполагает, а бог располагает».

ЗЛОЙ ДЫМ



041935340
30200110033

ДЕНЬ и ночь пыхла горно-обогатительная фабрика. Из четырех огромных труб непрерывно валил серо-желтый дым. Ядовитая пыль, оседая книзу плотным оранжевым туманом окутывала раскинувшийся на берегу Риони маленький городок Дабазони. В радиусе девяти километров от фабрики кукуруза не давала початка, не успевали отцвести огурцы, скрюченные, сморщенные висели они среди жестких от пыли листьев, а пупырчатые ягоды бледно-зеленого тутовника по вкусу очень напоминали мыло. Много лет отравлялось все окрест, но никому и в голову не приходило объявить прилегающую к фабрике территорию зоной, опасной для жизни. Чахлые деревья стояли немymi памятниками, но люди не жаловались. Не жаловались по той простой причине, что большинство из них смирилось с медленным отравлением и в глубине души даже благодарило небо за то, что возле Дабазони не работает более эффективная машина смерти. Коровы, жующие ядовитую траву, не давали приплода, душа болела, глядя на них. Но... люди не жаловались, раз и навсегда осознав тот факт, что гиганту индустрии, украшению пятилетки Дабазонской горно-обогатительной фабрики никто не подрежет крылья. Фабрика имела столь большое значение, что в одном из анекдотов ее объявили причиной Второй мировой войны.

Дабазонские граждане покорно и дружно глотали фабричный дым. Но порой даже в их без особых претензий сознании мелькала крамольная мысль — так уж ли необходимо руду эту обогащать именно здесь, в Дабазони, в тридцати километрах от места ее добычи.

Однажды приехал отдыхать на море один очень большой человек. Вскоре наскучило ему глядеть на бесконечно синие волны и он выразил желание прогуляться в соседние районы. Поднялась суматоха. Покуда гостеприимные хозяева утверждали маршрут прогулки, на всякий случай перекрыты были все дороги. Райская тишина воцарилась на трассах. Срочно латали асфальтовое покрытие, покосившиеся от ветхости здания по маршруту следования были выкрашены в фиолетовый цвет, а там, где краска уже не брала, стены были

увешаны плакатами. Плакаты, честно говоря, были прекрасны. Читать их, правда, было некому, но каждый второй обещал невиданный, неслыханный доселе расцвет жизни до удивления привыкшим ко лжи, не потерявшим в нее веру гражданам.

Во вторник утром из скромного дворца отдыха тронулась в путь прогулочная процессия. Это было очень ответственным делом, можно сказать даже экзаменом для сопровождающей свиты. Непростым делом это было и для большого человека. В общем-то, хотя прогулка и носила характер неофициальный, но нужно же было хоть раз-другой помахать рукой людям, пригнанным на обочины дороги для приветственных криков. Дивился гость столь великой любви к нему народа. В нестерпимый зной покинуть спасительную тень эвкалиптов и выйти, чтоб приветствовать его, — на это можно было решиться только из великой любви. Разве мог себе представить высокий гость, что эти бурные восторги — результат самоотверженного труда инструкторов и всевозможных организаторов. А озабоченных своими делами горожан раздражала даже такая простая вещь, как перекрытые автоинспекцией улицы, на которых движение не возобновлялось до тех пор, пока не проедет последняя, тринадцатая по счету машина процессии.

Большой человек, предпринявший эту прогулку, был в общем доволен. Правда, на отдыхе он не обязан был вершить государственные дела, но время от времени по поводу увиденного из окон машины он ронял мудрые замечания, которые тут же подхватывались его семью помощниками с портфелями. К примеру, проезжая село Верашенда, он проговорил: какое маленькое кладбище, а оглядев сверху поселок Грмулети, отметил, что на его месте можно было бы построить прекрасное водохранилище с форелевым хозяйством.

Когда головной отряд эскорта напоминавших канареек мотоциклистов вплыл в оранжевый туман, вольно исторгаемый трубами Дабазонской горно-обогагательной фабрики, приложив к носу белоснежный платок, он поинтересовался, неужели этот дым не вредит посевам кукурузы. Приближенные, кому вменялось в обязанность фиксировать в памятных книжках его изречения, аккуратно делали это. Что же касается дыма, валившего из труб обогагательной фабрики, то один из хозяев

пытался объяснить, что дым этот для жизни не опасен. Правда, высокий гость в своем замечании налегал на кукурузу, но услышав это — не опасно для жизни — пожалел, видать, пожелтевших и высохших от дыма местных жителей и проговорил: «Я думаю, в Японии уже изобрели фильтровальные установки для ядовитых дымов. Узнайте это, и поможем местному населению». И тут у гостя начался приступ истерического кашля, он рукой показал водителю, быстрее, мол, уедем отсюда подальше. Когда кашель унялся, гость весьма и весьма сердито посмотрел на представителя местной власти, который пытался логически доказать, что дым не опасен для жизни.

Были изысканы средства, найдены каналы связи, и через несколько месяцев во дворе Дабазонской фабрики появились роскошно упакованные четыре японские фильтровальные установки. Срочно вызваны были дипломированные специалисты, обучавшиеся в разных вузах великой страны. С тщательной предосторожностью, словно обезвреживали мину, были вскрыты контейнеры, и начались работы по монтажу установок. Но прежде, чем мы перейдем к монтажу, я хочу отметить, что заводской сторож погрел руки на упаковочных материалах — японскую фанеру продал горожанам на кухне, капроновой стружкой законопатил щели в смотровой башне, а местные детишки целый месяц таскали пенопласт, меняя его на конфеты и фрукты.

Не скрою, очень трудной для наших инженеров оказалась эта задача — установить фильтры на дымящих трубах. Правда, добросовестные японцы учли даже и то, что дабазонские инженеры могут не слишком хорошо знать японский язык, и инструкции и чертежи составили с чрезвычайной точностью. Я не инженер и ничего в этом не понимаю, но заглянув в чертежи, увидел, что на каждой детали стояли номер и стрелка, которая указывала, куда ее надо установить. Часть инженеров утверждала, что эти фильтры изготовлены для труб совершенно другой конструкции и для их установки нужны новые трубы, а также основательная реконструкция всей фабрики. Другая часть, правда меньшая, утверждала, что ничего другого и нельзя было ожидать от капиталистов, что японские магнаты поставили нам просто брак и все тут! Но этот аргумент не слишком убеж-

дал. Потому что, как я недавно узнал из телепередачи, для того, чтоб выпустить брак, японцам потребуется немало средств — нужно переделать налаженные как часы станки, заложить в компьютеры неправильную программу, и поэтому, несмотря даже на огромное желание, ради нас они не пошли бы на такие жертвы. По недолгом размышлении решили попросить японцев прислать специалистов по установке этих фильтров.

Не могу вам сказать, о чем там переговори́ли хозяйка японской фирмы, когда до них дошла эта просьба, но знаю точно, что одиннадцатого мая вертолетом специального назначения в Дабазони прибыли три вечно улыбающихся японца и один переводчик, по совместительству работающий в некоем учреждении. Тут же хочу отметить, что переводчик был вовсе неплохой человек, по всему было видно, что он сносно владел японским. Высокий, слегка сутулый, длиннорукий, он был не то чуваш, не то мордвин. Разговоров во время еды он не любил и редко моргал голубоватыми узкими глазами. На первых порах он ходил со скучающим лицом и пытался хотя бы приблизительно передать хозяевам то, что японцы дружно выкрикивали, категорически улыбаясь. Но это никак ему не удавалось, поскольку он и сам имел весьма туманное представление о сложнейших инженерных терминах. В принципе две вещи интересовали переводчика более, чем установка фильтров. Первое: масштабы легальных и нелегальных взаимоотношений японцев и персонала фабрики, и второе: обычаи и традиции местных жителей, в частности в связи с приемом гостей. Поскольку он сравнительно легко удовлетворил свой интерес к первому вопросу (передача секретных пакетов между дабазонцами и японцами не просматривалась даже в перспективе, а разговоры на зашифрованном языке или с применением пароля и вовсе исключались, поскольку они абсолютно не понимали друг друга), переводчик со всем усердием отдался выяснению второго не менее интересного вопроса. Сколотив вокруг себя отряд из пяти любителей непрерывных кутежей, он через неделю окончательно спился, едва не позабыв о своей почетной миссии.

Вероятно, вавилонская башня строилась более планомерно и согласованно, нежели монтировалась фильтровальная установка на этой фабрике. Утром японцы, выря-

дившиеся в халаты цвета медного купороса, подолгу ждали не имевших представления о пунктуальности своих дабазонских коллег. Поначалу они выражали беспокойство, а затем, убедившись, что для местных жителей время имеет абсолютно другое измерение, стали даже симпатизировать лишенным педантизма, борющимся со всякого рода временными рамками дабазонцам. Затем по приходе дабазонцев начинался диалог на языке мимики и жеста, что конкретно делать. Диалог, если не принимать во внимание изредка раздающийся хохот и восклицания, напоминал спектакль театра пантомимы. Когда смеялись дабазонцы, японцы умолкали и переглядывались. Затем, переговорив между собой, мелко, по-японски начинали смеяться японцы. Дабазонцы удивленно замолкали и глядели на японцев, затем присоединялись и они и тогда хохотали обе стороны. Дабазонцы смеялись над тем, как смеются японцы, но над чем смеялись японцы, мы никогда не узнаем, и может, оно и к лучшему.

Кончив переговоры, несколько смелых инженеров, засучив рукава, брались за дело. Перед началом непосредственно трудового процесса произносилась обычно одна и та же фраза: «Ну что же, начнем. Не будем же болтать так дотемна. Давай начнем, мы сделаем свое, а они пусть переделывают». Тем временем японцы, тесно сгрудившись в уголке, напряженно вытягивали шею и полными ужаса глазами следили за тем, как загорелые дабазонцы, напевая, хлопотали возле установок. И только когда вошедшие в экстаз местные инженеры хватались за ножовку или напильник, чтоб «исправить» и подогнать деталь, из их угла раздавались энергичные протестующие возгласы. Взволнованные и обеспокоенные, они подбегали к ретивцу, что-то объясняя на своем японском языке, а затем отбирали обреченную деталь.

Не оставалось сомнений в том, что японцы терпеть не могли ножовку и напильник. После обеда, когда в цеху было меньше людей (мало кто из дабазонцев работал после обеда, японцы приписывали это местным традициям), к работе приступали японцы. Под взглядами безмолвно стоявшего заинтересованного инженерно-технического персонала они разбирали собранные за утро местными умельцами узлы и, разобрав, заново приступали к их сборке.

Так проходили дни, не дни даже, а недели. Установ-

ка фильтров затянулась до бесконечности, а злой дым по-прежнему травил людей и всю окрестность. Тогда взяли и этот участок работ объявили ударным. Это означало, что каждую пятницу курирующий эту отрасль начальник приезжал в Дабазони и с благородной целью ускорить это дело устраивал совещание.

В первый же день, когда участок был объявлен ударным, Дабазонскую фабрику окружили черные «Волги». Японцы, как загнанные зайцы, прятались за спиной друг друга. Они думали, что степенные мужчины в черных костюмах при темно-красных галстуках приехали выговаривать им за то, что они каждый день заново делают работу, уже проделанную дабазонцами. Когда секретарь зоны и сопровождающие его лица, улыбаясь, пожали руки гостям и направились к наспех сооруженной трибуне, японцы облегченно вздохнули. Но в их глазах ясно можно было прочесть неумемое желание узнать о цели визита мужчин на черных «Волгах».

Не могу не отметить, что начальник отрасли и руководители зоны произносили прекрасные речи. Церемония выяснения причин, мешающих работе, а также изыскания возможностей ускорения работ продолжалась довольно долго. После трехчасового заседания местные руководители, заводская администрация, инженерно-технический состав (за исключением двоих) проводили мужчин в черных костюмах. Я не собирался этого говорить, но реалистический принцип повествования вынуждает сделать это: в тот день никто из провожавших не вернулся к месту работы.

Нас спецификой ударного участка не удивишь, но японцы удивлялись. Удивлялись черным «Волгам», появлявшимся каждую пятницу, и длинным монологам на непонятном языке. Именно монологам, поскольку каждый твердил свое, причем так пылко, словно бы истину знал именно он и никто больше. Поначалу японцы думали, что присутствуют на культовом обряде религиозной секты, затем их охватил страх, что это представители соперничающей фирмы, которая предлагает более совершенную модель фильтров. Под конец, это было уже в пятую пятницу, японцы поняли, что инженерно-технический состав дабазонской фабрики объявил забастовку. Они только сокрушались, как не додумались до этого раньше. Ведь то, что дабазонцы так редко и равно-

душно ковырялись в деталях, должно было, по мнению японцев, тоже привлечь внимание администрации. И все-таки какие они милые и вежливые люди, штрейкбрехерам-японцам они ведь не сказали ни одного грубого слова. Однажды вечером они отыскивали-таки переводчика и пошли вместе с ним приносить свои извинения главному инженеру.

— Что вы, что вы, какие извинения?! — от удивления инженер бровями приподнял свою шляпу.

— Но мы не приняли участия в забастовке и даже мешали вам...

— Да что вы, какие у нас забастовки, — бился головой об стенку инженер.

— А почему же вы собираетесь каждую пятницу и болтаете...

Слово «болтаете» было явно придумано переводчиком, японцы выражались куда деликатнее.

— Это—совещания, — отводя взгляд от переводчика и устремляя его прямо в глаза японцам, твердо сказал главный инженер Дабазонской горно-обогатительной фабрики Чола Чуталадзе.

«Совесания, со-ве-са-ни-я, сове-сани-е» — на все лады повторяли японцы это удивительное слово, повторяли так, словно понимали его магический смысл.

Пятничные совещания имели тот результат, что корпевшим над установкой фильтров японцам добавили около сорока мешающих работе энтузиастов. Добровольцы инженеры-конструкторы высказывали собственные, неслыханные дотоле и не подлежащие обнародованию соображения. «Моси, моси, каи, каи» («Да, да, конечно» — японск.), — кивали японцы в ответ на оригинальнейшие идеи, и продолжали делать свое дело.

Если бы не творческий огонь и новаторские предложения местных ученых-инженеров, японцы намного раньше бы закончили установку фильтров.

Убедившись, что и черную работу тут поручать никому нельзя, японцы работали чуть ли не в две смены. Они поминутно смотрели на часы, даже утереть пот со лба не хватало времени.

По вечерам, сидя на веранде дабазонской гостиницы, они смотрели на поселок, и лица их выражали серьезность, которой не было в день приезда. Может, я не так выразился, не совсем понятно, но я хотел ска-

зять, что они не улыбались поминутно и беспричинно, как прежде. А при виде черной «Волги», указывая на нее пальцем, они выкрикивали: «Совесение, совесение», а затем долго, до колик в животе, хохотали.

На этом мы закончим. У меня уже есть опыт — если я вовремя не поставлю точку, простодушная мысль заводит меня так далеко, что когда я вижу свою новеллу уже напечатанной, мне становится стыдно за какие-то свои слова, и я даже склонен соглашаться с теми, кто время от времени сердито шепчет мне: «Ну что тебе нужно, чего тебе не сидится спокойно, что ты постоянно кусаешься, чего тебе от нас надо, больше не о чем писать?!».

Но вас, читатель, верно, интересует судьба фильтровальных установок. Имею честь доложить, что японцы не ударили лицом в грязь. Не понадобилась ни переделка труб, ни основательная реконструкция фабрики. На всех четырех трубах были установлены фильтры. И как раз кончился срок пребывания японцев в СССР. Перед отъездом они наказали хозяевам в год раз менять масло в установках и прочищать трубы, и еще одно: они не успели замазать зазоры между трубами и фильтрами. Это все, сказали они, можно сделать за один день. Покорнейше просим не устраивать совещаний, это могут сделать три любых дабазонских инженера.

Шестой год работают без помех фильтры. Со дня отъезда японцев к ним никто не прикасался, нет, все прекрасно помнят наказ японцев кое-что доделать, но не смеют, боятся, а вдруг да фильтры перестанут работать. Зазоры, конечно, тоже не замазали, даже в голову не пришло это сделать. В конце концов, ведь должен же помнить каждый, как дымила фабрика на протяжении всей славной пятилетки.

Уверенные в бесперебойной работе фильтров дабазонцы чувствуют себя бодро и выглядят весело. Вот только в радиусе девяти километров от фабрики кукуруза по-прежнему не дает початка, и тута стоит подозрительно бледно-зеленая.

Перевод Наны ДВОРАКОВСКОЙ



* * *

Я смерть свою потерял, величественную и золотую
взраченную моим счастьем и зарею рассветной.
Со дня моего рожденья растил я ее неприметно,
дыханьем силу давал, чтобы взрастить — такую.

И она жила во мне, гордая, верная мне до гроба.
И, как отца, меня радовал величественный ее вид.
И, как дитя, припадал я к сильному взору, чтобы
ощутить в нем спокойствие мраморных плит.

Я смерть свою потерял — моего отца и моего сына.
И беспокоится ночь, всеми ветрами звеня.
В этой кромешной ночи я, одинокий, стыну.
У меня умерла смерть. Смерть умерла у меня.

* * *

Любовь,
я различил твой зов,
как отдаленный дым костров.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В 1987 ГОДУ погиб в автокатастрофе молодой грузинский поэт и драматург Тамаз Бадзагуа.

Гибель человека всегда трагична. Гибель поэта, тем более поэта молодого, трагична по-особому: уходит творец и уносит с собой тайну...

Нам остается быть благодарными ему за то, что он успел оставить. Нам остается сожалеть... и гадать о том, чего мы уже никогда не узнаем.

Жизнь духа, его боренья, его падения и взлеты — вот самое драгоценное проявление личности. Так пусть мука и любовь, боль и радость Тамаза Бадзагуа обретут свое дыхание и в русском стихе.

Первую книгу поэта на русском языке готовит к изданию Главная редакционная коллегия по художественному переводу и литературным взаимосвязям.

Эти стихи — из будущей книги.

Меня твой зов,
как крест нательный,
спасал у края тьмы смертельной.



Любовь,
я различил твой зов, —
как свет сквозь щель, —
такой манящий.
Душа надела твой покров
цыганский,
грубый и блестящий.

Любовь,
я различил твой зов,
как заблудившийся — тропинку.
Луну — подтаявшую льдинку —
не вижу. И не вижу снов.
И я уже спросить готов:
о чем ты плачешь под сурдинку?

Ты, одинокая везде,
любовь, скажи,
какой звезде
ты осветишь к земле дорогу,
к какому ты бредешь порогу
и падаешь в какой стране,
как воин со стрелой в спине?

* * *

Дни ненаставшие тебя томят,
когда из тьмы ты обращаешь взгляд
туда, откуда зов мой раздается.
Но голос мой пустым ко мне вернется.

Вот я стою у края темноты.
И темень — как отверстая могила.
Но, как ребенок, радовалась ты,
когда бестрепетно в нее сходила.

О, зря тебя я беспокою, зря!
Мой голос темноты не одолеет.
...Как небо, разверзается земля.
И, как земля, лицо небес чернеет.

* * *

Здесь все тебе осточертело.
И ты бестрепетно глядишь,
как город простирает в тишь
свое сверкающее тело.

Ночей тебе не жаль теперь.
Их одиночество глухое, —
ты знаешь, что оно такое,
как заключенный в клетку зверь.

Тебе осточертело все.
От прошлых весен к предстоящей
тебя, как листик, унесет
стремительной рекой кипящей.

Осточертело все. И ты
увидишь вдруг, что, как с экрана,
твои глаза из темноты
глядят тревожно, тихо, странно.

Они взирают на тебя.
Они тебя навек запомнят.
И несколько минут спустя
вечерним солнцем дом заполнят.

* * *

Все больше, больше все день ото дня
меж мной и жизнью этой расстоянье.
От снега только лишь знобит меня.
Меня не трогает его сиянье.

А дождь — вода лишь. Только и всего.
И если незнакомец хлопнет дверью,
то я любым речам его поверю:
мне кажется, я прежде знал его.

А нынче снился мне умерший друг.
Он звал меня, махая мне рукою,
туда, откуда потянуло вдруг
единственную правдой и покоем.

Солнце себе расцарапало тело.
 Нам эта кровь попадала на лица.
 Темень вокруг постепенно твердела,
 и не хотелось уже шевелиться.
 Страсть поднималась не без усилия,
 словно арба по разбитой дороге.
 Дождь пеленою встал на пороге,
 нам надевая странные крылья.
 В горестях наших шаря руками,
 мы, как игрушки, их раскидали.
 Крылья у нас отрастали веками,
 а для чего — мы сегодня узнали:
 крылья с землею нас разлучили —
 чашу свою мы испили до донца.
 Что там сверкает, истина или
 окровавленное страшное солнце?
 В нас одиночество пробудилось,
 и в пробужденном этом просторе
 мы излучали все, что скопилось:
 боль, ожиданье, радость и горе.
 Дождь — это крыльев раненых взмахи —
 небо с землей перепутал в смятенье.
 В этот поток, забывая о страхе,
 наши с тобой влетают тени.

* * *

Когда заглянет мертвый вечер в плоть
 и с листьев соскользнет змеей вода,
 то лишь тогда, о, только лишь тогда
 поймешь и ты, что смерти побороть
 тебе не помогла твоя звезда,
 что смерть бестрепетно и откровенно
 потоком темным заполняет вены.
 О, лишь тогда не пренебрегнешь ты
 мерцанием крошечной пустоты.
 Ты в азбуку ее давно проник,
 как самый терпеливый ученик.
 Но голос, где он будет, голос твой,
 чья плоть его заботливо воспримет
 в тот час, когда в короне огневой
 ты воспаряешь над ранами своими?
 ...А в тело смерть глядит неотвратимо,
 как юноша в окно своей любимой.

Перевод Наталии СОКОЛОВСКОЙ

Судьба горы высокой

Горы высокой тяжела судьба, —
Над головой ее клубятся тучи.
Вся жизнь — со злыми силами борьба,
А эти силы грозны и могучи.

Бьет молния, сечет жестокий град,
Напильниками ливни прорезают,
Обвалы мучат, грудь ее терзают,
И ветры, бури слух не веселят.

Но мне судьба подобная мила:
Горою стать, перебороть все беды.
Смерть перед ней бесправна и мала,
Сама гора вовек — как знак победы.

И первая встречает первый луч,
Последний луч, единственная, ловит,
Вдаль эхо песни посылает с круч,
Клад сердца бережет — не суесловит.

Ее родник стремителен, как мысль,
Она в цветах, как радуга, сияет.
Нам душу возвышает — смотрит ввысь,
Печали наши радостью сменяет.

Там, наверху, пристанище орлов.
И крылья, и глаза всегда тоскуют
О ней, высокой... Выше всяких слов
Ее судьба. Я выбрал бы такую!

Белое платье



Моя милая на лето
Платье выбирает.
Как всегда, моих советов
Слушать не желает.

Темное все время носит,
Белое — не хочет.
Ах, как сердце мое просит —
Ведь подходит очень!

В платье белое на свадьбе
Ты была одета.
Ты любила. Мне узнать бы:
Не забыла это?

Вновь надень его — на зависть
Юности зеленой.
Платье белое — как завязь
Памяти влюбленной.

Перевод с осетинского Ирэны СЕРГЕЕВОЙ

ХРОНИКА

В ТБИЛИСИ, на улице Пиросмани в доме № 29, открылся филиал Дома-музея Нико Пиросмани в Мирзаани. В небольшой комнате выставлены фотоматериалы, копии с картин Пиросмани, его биография, написанная рукой академика Шалвы Амиранашвили, автопортрет художника, оригинал работы Ладго Гудиашвили «Боже, упокой душу Пиросмани», фотографии Ермолова с видами села Мирзаани и Земю Махчаани, красочные афи-

ши выставок работ художника в зарубежных странах, другие материалы. Но, пожалуй, самым замечательным является специальный стенд, где регулярно будут выставляться одна или две оригинальные работы Пиросмани. В день открытия музея его сотрудники вместе с директором мирзанского Дома-музея устроили посетителям настоящий праздник. Была выставлена картина «Лежащая грузинка», которая 61 год отсутствовала в Грузии.

ВЫБОР

ПОВЕСТЬ

ТАИНА КНАПЕ*

— Доброе утро, ребята!

— А, Кнапе, привет!

— Здравствуй, Кнапе!

— Здорово!

— Привет!.. — дружно отвечали водители, собравшиеся во дворе гаража в ожидании путевок.

Кнапе, подбоченившись, подмигнул одному из них:

— По-моему, вам очень хочется отведать хаши.

Ну как, угадал?

— А мы уже успели...

— Ты знал это, конечно, то-то такой смелый. Тебя ведь силком в столовую не затащишь!

— Да провалиться мне на месте! Разве вы меня первый день знаете? Что за жизнь без друзей и застолий? — в тон им отвечал Кнапе.

Настоящее имя Кнапе — Григол. Когда он вернулся с войны без правой челюсти, кто-то из шоферов дал ему прозвище Кнапе. Григол не обиделся. С тех пор все его так и звали — Кнапе.

Ранило его при взятии Крыма. Зашивая рану, пришлось зашить ему и часть губы, поэтому Кнапе странно выговаривал слова, однако никогда не лез в карман за словом, при этом был добрым и незлобивым, и товарищи по работе любили поболтать с ним, перекинуться шуткой.

* Кнапе — прозвище, производное от слова «рассеченный» (груз.).



- Вот и сейчас один из шоферов крикнул:
— Поди сюда, Кнапе, еще рано, может, жешь что-нибудь.
- Молоть языком и ты горазд, к тому же байки плетешь — не краснеешь! — отвечает Кнапе, улыбаясь.
- Слова Кнапе вызывают дружный хохот.
- Помнишь, Кнапе, как ты посадил в кабину девушку из Мухрани и как она зацеловала тебя.
- Бог свидетель, не было этого! — разводит руками Кнапе.
- Говори, чего стесняешься!
- Да, вез я девушку, но у меня и в мыслях этого не было.
- Не скрытничай, Кнапе!
- А ты и поверил?! Это все проделки Лопухого, знаю я! Болван он этакий. Из Тбилиси ехал мне навстречу на своем драндулете. Увидел рядом со мной девушку, ослабился. Я тотчас догадался: не упустит он возможности напакостить. Сам потаскун, вот и о других болтает!
- Девушка знакомая?
- Да нет. Стояла на повороте у Мухрани. Ей надо было в Тбилиси, попросила подвезти, я и посадил.
- Красивая?
- Как утренняя звезда!
- Небось, ты не растерялся.
- Да ну вас, бесстыжие! Она мне в дочери годилась!..
- Значит, неправда это?
- Гнусная ложь!
- Не это ли послужило причиной?!
- Чего? — удивился Кнапе.
- Что тебя уволили.
- Что ты болтаешь! — Кнапе покачал головой и в удивлении скривил изуродованные губы.
- Выходит, ты даже не знаешь, что тебя уволили?!
- Еще не родился человек, который снимет меня с работы.
- Напрасно так уверен, посмотрим, как ты сядешь за руль!
- Без малого двадцать лет я за баранкой и назло вам всем буду еще долго гонять своего Шамиля,—

на щеке Кнапе появляется некое подобие улыбки. Ша-
милем Кнапе называл свою машину.

— Вот когда на твоей машине будет ездить
тогда и начни считать года.

— Они что, правду говорят или шутят, Валериан?!
— обратился Кнапе к толстяку, который стоял, заложив
руки в карманы, и посмеивался.

— Правду, — пробасил Валериан.

Кнапе перегнулся через окошечко диспетчерской.

— Таня, моя путевка готова?!

Учетчица покачала головой.

— Почему?! — Кнапе насупился.

— Приказ начальника. — Таня сочувственно смор-
щила лоб. — Он позвонил и велел впредь путевку вам
не выдавать.

— Но почему?!

— Не знаю! — пожала плечами девушка. — Мне
об этом не докладывают.

Кнапе нахмурился и, нервно причмокивая тонкими
губами, вновь подошел к водителям.

— Ну что, Кнапе?

— За столько лет ни одного прокола! За что же
увольняет меня этот сукин сын! — громко выругался
он.

— Услышит, не сдобровать!

— А что он может еще сделать, паскуда! Он уже
сделал свое грязное дело.

— Кнапе, ты меньше слушай этих лоботрясов, им
бы только позлословить. Известное дело, чужая беда не
болит... Поднимись наверх, выясни, в чем дело, — по-
советовал Валериан.

Совет Валериана показался Кнапе разумным, и он
ворча направился к кабинету директора. Не постучав-
шись, открыл дверь, снял шапку, поздоровался. Дирек-
тор, не ответив на приветствие, продолжал писать.

Кнапе подошел ближе, остановился и, опустив го-
лову, стал ждать. Поскольку директор не удостоил его
вниманием, Кнапе сам обратился к нему.

— Как дела, Дмитрий Соломонович?!

— Чьи?

— Мои!

— Твои не очень... — покачал он головой.

— Как это понимать?

— К сожалению, с сегодняшнего дня ты не можешь сесть за руль. — И директор снова взял ручку, показывая тем самым, что разговор окончен.

— А собственно, почему?! — Кнапе старался не волноваться.

— Потому, что ты освобожден.

— За что сняли меня?!

— Не сказали тебе?

— Никто ничего не говорил, я понял это, когда мне не выдали путевку.

— А то, что тебя больше нельзя держать на работе, ты не понял?!

— Что я такого совершил?

— Аварию, ни больше ни меньше: крыло машины сломал, двери помял, на два дня исчез вместе со своим «газиком», этого тебе мало?! Обязательно надо убить человека?! — Дмитрий повысил голос.

— Я ведь все починил на свои, кровные, ни копейки у вас не брал! — крикнул Кнапе.

— Кто что починил меня не интересует, факт остается фактом.

— Да, но ведь когда это было! Помнишь, ты сказал, на первый раз, мол, прощаю.

— Как видишь, этого оказалось недостаточно... и надо мной есть начальники, ты ведь знаешь, как инспекция докучает... позвонили оттуда, а их слово для меня закон... Не уволь я тебя, досталось бы мне, а с чего мне самому в петлю лезть?

— Ради некоторых ты не только в петлю полезешь! — не сдержался Кнапе.

— Незачем на других указывать, во всем виноват сам... Пусть теперь тебе поможет эта девушка из Мухрани, — ехидно сказал директор.

Кнапе недоуменно пожал плечами:

— При чем тут девушка из Мухрани! Я ее посадил, когда ехал отсюда, а авария случилась, когда я возвращался из Тбилиси. Все подтвердят, что не я, а меня стукнули, так зачем меня-то наказывать?! Есть ведь справедливость на свете?

— Инспектора считают, что ты виноват.

— Но почему! — разозлился Кнапе.

— Тебе лучше знать.

— Я знаю, что я абсолютно прав!

— Не торгуйся со мной, прекратим разговор. Я не изменю приказ, если даже отец родной встанет из могилы.

Кнапе вдруг обмяк, съезжился.

— Прости, Дмитрий Соломонович! — произнес он, стараясь говорить как можно спокойнее. — У меня ведь большая семья...

— Мне моя семья дороже!

— Я двадцать лет за баранкой, и это единственное происшествие за столько лет. Сколько у меня благодарностей! Четыре года был в огне. Кому-кому, а тебе ведь хорошо известно, что меня вернули с того света...

— Все знаю, но... — директор пожал плечами.

У Кнапе задрожала челюсть. Здоровая щека начала подергиваться. Он гневно уставился на директора.

— А почему все делается шито-крыто? Как можно увольнять человека, не согласовав с профсоюзной организацией?

— Со всеми согласовано! — твердо произнес директор.

На самом деле ни с кем он ничего не согласовывал и даже приказа не писал. Чем черт не шутит... Сначала убедит Кнапе, что действительно уволил его, и если все пройдет безболезненно, то и приказ оформит задним числом, и с профсоюзом потом согласует. К такому приему Дмитрий и раньше нередко прибегал — и добивался-таки желаемого.

— А почему я не должен знать об этом заранее? — спросил Кнапе.

— Теперь ведь знаешь!

— Очень ты поторопился, Дмитрий Соломонович, неужели совесть не мучает, мы ведь с тобой друзья юности, из одной тарелки ели, вместе подставляли грудь огню.

— Друзья мы вне работы, а на работе главное — честность и принципиальность... Я подыщу тебе работу в другом месте.

— Ты меня увольняешь... Неужто будешь утруждать себя поисками работы для меня, — горько улыбнулся Кнапе.

— Что поделаешь, обязан!

— И я обязан!..



— О чем ты?

— Сказать...

— Что именно? — Дмитрий исподлобья посмотрел на Кнапе.

— Скажу там, где надо.

— Не понимаю тебя!

— Ах, не понимаешь?! Так с чего начать, как ты думаешь, может, начнем с твоей жадности?

— Ничего ты не докажешь.

— Докажу и кое-что посерьезнее!

Директор зло посмотрел на Кнапе.

— Для того, чтобы посадить тебя на место, достаточно напомнить, что ты обманываешь и государство, и людей...

— Что?.. — голос Дмитрия дрогнул.

— Тебя выгнали со второго курса, а во всех документах ты беззастенчиво пишешь, что у тебя высшее образование. Заполучил должность и губишь людей.

— И тебе и тем, кто тебе поверит, я суну под нос диплом! — нетвердо произнес Дмитрий.

— Да нет у тебя диплома, у тебя только справка. Это и погубит тебя. Думаешь, этого никто не знает? Забыл, как сболтнул об этом по пьянке?! Чувствовал свою вину, вот и каюсь! Да не сболтни ты сам, все равно люди об этом говорили, кстати, твои же дружки!

— Ух, твою!.. — Дмитрий стукнул кулаком по столу.

— А ты не беленись, коли прав... Может, думаешь, что люди и того не знают, что ты натворил у своей крали. Небось позабыл... Так знай же, что и об этом все узнают. В первую очередь обрадую твою жену, она и так уже совсем извелась от ревности. Достаточно одного слова, чтобы тебе все носом вышло... Но это еще не все... Может, ты думаешь, несчастный, что ни Кнапе, ни остальные не ведают, как ты деньги загребаешь. Кого только не доишь?! Ни одного водителя к баранке не подпустишь, покуда не обдерешь как липку. Ни один водитель и шагу не ступит, не отсчитав тебе деньгу! Доподлинно знаю, у кого и сколько ты взял, и кто сколько обещал дать...

На самом деле Кнапе, разумеется, ничего не знал о темных делишках директора, он слышал об этом от

других. Не знал, но говорил так уверенно и убедительно, будто видел все своими глазами.

Директор побледнел и замолк.

А Кнапе продолжал:

— Знай, ты дорого заплатишь за то, что уволил меня. Я пойду туда, где умеют отличить черное от белого, и кроме этих подлостей, навешу на твою шею кое-что еще. Того и гляди, ты не только работу потеряешь, но еще и с красным билетом распрощаешься!

— Ну и ядовитый у тебя язык! — сквозь зубы произнес Дмитрий.

— Что, горько?! Это еще цветочки, ягодки впереди!

Директор, стараясь скрыть волнение, с притворной бодростью сказал:

— Зря суетишься.

— Посмотрим, как выкрутишься. Утроба у тебя ненасытная, и предела ни в чем не знаешь. погоди, я покажу тебе, как бросаться людьми! — зло бросил Кнапе и хлопнул дверью.

Понося директора на чем свет стоит, Кнапе спулся по лестнице. Навстречу ему шел Гио. Кнапе, не замечая его, прошел мимо.

— Привет, Кнапе! Ты что не здороваешься?! — ехидно улыбнулся Гио.

— Вы и так здоровы, ты и твой начальник.

— С чего ты такой сердитый?

— Будто не знаешь!

— Да ты не огорчайся. У тебя будет машина лучше этой.

Кнапе молча исподлобья оглядел его и продолжил путь.

— Подожди, Кнапе!

Кнапе махнул рукой.

— Тебе директор сказал? — догнал его Гио.

— А что он должен был сказать? — сердито бросил Кнапе.

— Он всучил твою машину мне...

Кнапе, прищурившись, измерил его взглядом и сказал:

— Тебя сажает на мою машину?!

Гио притворно огорчился и развел руками.

— Оказывается, ты еще бессовестнее, чем твой на-

чальник! — изуродованные губы Кнапе нервно задержались.

— Кнапе, выбирай слова, а то покажу тебе кто бессовестный! — процедил сквозь зубы Гио.

— Руки коротки!

— Это мы еще посмотрим!

— Тыфу, разве ты мужчина! С какой совестью сядешь на машину, которую я лелеял, как собственного ребенка. Как ты мог так опуститься, чтоб вырывать у меня изо рта кусок хлеба!

— Нечего корить меня, лучше дай ключи! — глаза Гио налились кровью.

— Держите карман шире и ты и твой директор!

— Кнапе, ты знаешь, шутки со мной плохи. Я заставлю тебя принести ключи, не сомневайся! — стукнул себя в грудь Гио и побежал вверх по лестнице.

— Плевать я хотел на тебя! — крикнул вдогонку Кнапе и спустился во двор.

Водители тотчас окружили его.

— Ну что, Кнапе, обласкал тебя директор?

— Небось извинялся?..

— Он и в самом деле уволил меня, пусть теперь радуются такие, как Гио.

— Ну и дела...

— Непонятно, Мосе на целую неделю угнал машину в Россию, раздолбал ее, а ему все сошло с рук. Тут же...

— А он знает, как заткнуть директору рот.

— Эх! — Кнапе махнул рукой.

— А что ты думал, Кнапе, когда не хотел раскошелиться... И еще хвастал, мы, мол, друзья юности... — напомнили Кнапе товарищи.

— Да пошел он... Для него не существуют ни друзья, ни родственники. Родного брата не пожалел из-за клочка земли, собственную мать не пощадил, а меня и подавно по головке не погладит!

— Да, да, совести у него нет, бога не боится!

— Меня что возмущает, несправедливость, вот что. Мне ведь не место свое жалко, можно подумать, что я кресло министра потерял!

— Для тебя и для нас баранка — что кресло министра или президента.

— Ох нелегко, братцы, когда тебя втаптывают в грязь. Злость задушит!

Водители притихли, перестали шутить и с сочувствием смотрели на товарища.

— Не бойся, Кнапе, мы тебя в обиду не дадим!

— Твою семью без внимания не оставим!

— Каждый из нас тебе поможет!

— За тобой не пропадет, мы это знаем! — утешали его друзья.

— Спасибо... Но почему я должен страдать из-за какого-то мерзавца?!

— Что поделаешь, Кнапе, в этом странном мире чаще всего страдают праведники.

— Да ты не огорчайся, на нашей автобазе свет клином не сошелся.

— И в самом деле, не надо падать духом!

— Крепись! Трудно быть сильным в горе, а в радости — все герои.

— Ну, ну, не бойся, облака уходят, и снова ярко светит солнце.

— Я отомщу ему! Он еще заплачется, все это выйдет ему носом! — прибодрился Кнапе.

Директор, глубоко задумавшись, сидел в своем кабинете.

Вошла секретарша.

— Дмитрий Соломонович!

Директор нехотя поднял голову.

— К вам Гио.

— Скажи, пусть подождет.

Гио — из компании Дмитрия. В свое время был хорошим водителем, но любил выпить, и не удивительно, что однажды сбил пешехода. Дело пахло тюрьмой, но он сумел выкрутиться. Всего на два года лишили его водительских прав, однако разрешили работать механиком. Истекал срок наказания, вот он и рвался поскорее сесть за руль.

Гио долго сидел в приемной, потом ему надоело ждать, он вошел в кабинет и протянул директору руку.

— Здравствуйте, Дмитрий Соломонович!

— Здравствуй, Гио! — Дмитрий заставил себя улыбнуться.

— Проныра сказал, что вы хотели видеть меня, вот я и пришел.

Проныра не только приближенный директора, он еще и хранитель его тайн, из всего огромного коллектива директор доверяет только ему.

«Проныра — настоящий мужчина, если у него на глазах убить человека, он нигде никогда слова не проронит», — говорит Дмитрий.

— Проныра, говоришь? — Дмитрий сощурил глаза.

— Да... — недоуменно проговорил Гио.

— Так и быть, говори, зачем пришел, — произнес Дмитрий таким тоном, что Гио понял — директору неприятен его визит.

— Разве он вчера не видел вас?! — удивленно уставился он на директора.

Директор нехотя кивнул головой.

— Он передал вам?! — спросил Гио.

Дмитрий снова кивнул.

— Было столько? — Гио поднял руку с растопыренными пальцами.

Дмитрий покраснел. Ему не понравились вопросы, и он решил изменить тему разговора.

— У тебя, кажется, третий ребенок родился?

— Да, — гордо выпрямился Гио.

— Мальчик? — он холодно улыбнулся.

— Третий мальчик, Дмитрий Соломонович! — сказал Гио с удовлетворением.

— А продолжение будет?!

— Конечно, трем парням нужны три сестры! — Гио было приятно, что директор говорит с ним о семейных делах. Это свидетельство того, что директор с ним в близких отношениях и хорошо к нему относится.

— Молодец, ты настоящий грузин. Так и нужно!

— Вот ради них и стараюсь, а то...

Директор не ответил.

— Дмитрий Соломонович! — осмелел Гио. — Этот сукин сын что-то самовольничает!

— Кто?

— Кнапе, кто же!

Дмитрий недовольно поморщился.

— Он не дает ключи от машины... Разве он оценит вашу доброту, от тюрьмы его спасли, а он еще грозит. Я только что встретил его на лестнице. Говорю ему по-человечески, дай ключи, а он, как самый отъявленный хулиган, стал ругать меня последними словами.

Ну, допустим, я ему ровня, а вас-то за что, такого честного и порядочного человека. Мне даже стыдно повторять то, что он позволял себе. Как завелся, совсем голову потерял, до дверей вашего кабинета шел за мной и ругался нецензурными словами, да еще грозился. Наверное, и вы слышали, какие гадости он говорил. Что мне было делать, не могу же походить на него, вот и предпочел проглотить это... Удивляюсь, как мне удалось сдержаться, совесть не позволила, он мне в отцы годится, а то нужно было отделать его как следует.

— Не волнуйся, Гио!

— Как не волноваться! Он ведь знает, что уволен? Есть ваш приказ о том, что его машина передается мне?! Я с ним нормально разговариваю, а он переходит на ругань, да еще пускает в ход кулаки. Тоже мне, силач нашелся. Я сдержался только из уважения к вам, иначе...

Слова Гио иглами впились в Дмитрия. Он понял, что Гио ругает не Кнапе, а его, Дмитрия, ругает за то, что он не сумел уладить дело. Дмитрий готов был вышвырнуть Гио из кабинета, но терпел, зная, что он не будет держать язык за зубами, он-то уж будет болтать все что надо и не надо. Дмитрий счел нужным избавиться от него лаской и обещанием.

— Не торопись, Гио! Ты еще молод, причины, чтобы нервничать, у тебя нет. Все будет хорошо, подождем день-два. Кнапе успокоится. Если он не получит путевку, то ничего не сможет сделать. Не выедет же он самовольно из гаража?! Будь спокоен, я такое ему устрою, что он собственноручно положит ключи тебе в карман.

— Как знаешь, но он грозит, что завтра же пойдет куда следует.

Дмитрий снова побледнел, но продолжал натянуто улыбаться.

— Пусть побегает, все равно ничего у него не получится!

— Как бы мне не остаться в дураках...

— Не волнуйся. Все будет так, как я обещал.

— Может, вы думаете дать другую машину? — заподозрил что-то Гио.

— Нет... посмотрим... а тебе не все равно?!

— Лучше эту, Дмитрий Соломонович, она новая, к тому же ухоженная.

— Раз предпочитаешь эту, ее и получишь. Что еще могу тебе обещать? Не посажу же тебя в свое кресло?!
— директор встал, похлопал Гюо по плечу.

— Тогда я пошел, Дмитрий Соломонович. Я надеюсь на вас!

— Конечно, мой дорогой! Будет у тебя машина! Это так же верно, как то, что завтра утром взойдет солнце!
— уверенно сказал директор, улыбнулся и, продолжая дружеский разговор, проводил Гюо до лестницы. Вернувшись, он плотно закрыл дверь, снова сел за стол и в раздумье покачал головой. «Да, видать, я дал промаха!» — произнес он тихо, встал, выглянул в окно. Во дворе в группе шоферов стоял Кнапе, отчаянно жестикулируя, что-то рассказывал, а водители покатывались со смеху. Чувствовалось, что у Кнапе прошла злость, на сердце полегчало, и он шутит, как ни в чем не бывало. Да, странно, но он шутит!

Дмитрий повернулся и нервно зашагал по устланному коврами кабинету.

Через несколько минут на балконе появился Валериан и пробасил:

— Кнапе!

Кнапе обернулся.

Валериан поманил его указательным пальцем, подымись, мол!

Кнапе догадался, кто послал Валериана, и, набивая себе цену, равнодушно отвернулся, не удостоив Валериана вниманием.

— Слушай, Кнапе, не валяй дурака, иди сюда! — сердито крикнул Валериан.

— Я?! — Кнапе разыграл удивление.

— Да, ты, разве есть у нас другой Кнапе?!

Минут через десять Кнапе вышел к товарищам, кривая челюсть его еще больше скривилась от смеха.

— Что тебя так обрадовало, Кнапе?!

— То, что вы все здоровы! Разве это мало?!

— Нет-нет, наверняка что-то случилось!

Кнапе продолжал смеяться.

— Говори же, не тяни!

— То-то же... Пришлось ему все-таки выпить из того колодца, в который он плюнул!



— Ну что, уложил ты его на лопатки?!

— Восстановил он тебя?

— А что ему еще оставалось делать? — улыбается

ся Кнапе.

— Видать, есть у тебя, Кнапе, прием, и ты успешно пользуешься им.

— Скажи, в чем секрет?

— Мне всюду помогает моя правда! — Кнапе, поигрывая ключами, спешит к своему Шамилю.

— С тебя причитается, Кнапе, — кричат ему вслед шоферы.

— Думаю, причитается скорее с нашего директора, с него и спрашивайте, — смеется Кнапе, ласково поглаживая Шамиля, и, засучив рукава, влажной тряпкой протирает машину.

НАШЕ ПОЧТЕНИЕ, ПЛАТОН!

В этом маленьком городке раньше других просыпалась автобаза. Еще не погасла на чистом небе заря и не прозвучало по радио традиционное «доброе утро, товарищи», на автобазе уже приступали к работе. Если театр начинается с вешалки, то автобаза начинается с диспетчерской, сюда ведут все дороги, и ни один водитель не сделает шагу, не заглянув туда, где, устроившись за своим рабочим столом, раскрыв регистрационную книгу и положив рядом стопочку незаполненных путевок, дожидается их диспетчер Таня. Зайдя в диспетчерскую, шоферы обычно беспечно облакачиваются о деревянную перегородку и, независимо от того, знают они или нет русский, обращаются к ней со словами:

— Добри утро, Таниа!

Одни добавляют «дарагаиа», другие называют ее ласково «Таничка».

А Таня отвечает всем по-грузински. И говорит с водителями больше по-грузински, к тому же довольно бойко, но только с русским акцентом. И в этом нет ничего удивительного, ведь она родилась и выросла в этом городке.

Водители жадно разглядывают ее румяные щеки, нежную шею с родинкой, гладкие плечи. И взгляд их невольно скользит к глубокому вырезу на платье.

Заваленная работой Таня даже не поднимает головы. Она по голосу узнает каждого. Одних она не удостоивает ответом, другим кивает головкой.

— Куда я еду сегодня? — спрашивает один из шоферов.

— Куда ты хотел... — улыбается Таня.

— Ты чудо, Танечка!

— А мне куда? — наклоняется к ней небритый водитель, который, не надеясь на свою машину, заранее ни с кем не договорился.

— А ты иди к черту! — с такой нежностью произносит Таня, что слова эти звучат приятнее, чем если бы она сказала «дорогой».

— Вместе с тобой! — радуется юноша.

— А не пожалеешь? — спрашивает она с вызовом.

— Кроме шуток, Танечка, куда направляешь?

— В школу-интернат.

— Снова уголь везти?! — возмущается он.

— Ты ведь знаешь, ни ты, ни твоя машина большего не заслуживаете, — Таня говорит все это с улыбкой, чтобы не обидеть парня.

— Когда ты удостоишь меня вниманием?!

— Когда рак на горе свистнет... — И протягивает ему готовую путевку.

Иногда Таню осаждают сразу пять-шесть человек, и всем хочется тотчас узнать, куда кому ехать. Все говорят одновременно, стараясь перекричать друг друга.

— В чем дело? — повышает голос Таня.

— Ни в чем, Танечка.

— Потихе, вы там!

— Да, да, конечно же, надо потихе? — подлизывается кто-то.

— Обойдусь без твоей помощи! — сердится девушка.

— Моя дорогая! — кричит кто-то.

— Помолчи!

В диспетчерской стоит невообразимый гул, хотя на стенах и висят металлические таблички с надписями «Соблюдайте чистоту!», «Просьба не шуметь!», «Не курить!». Кто обращает на это внимание! Именно в диспетчерской особенно много курят и по-шоферски беззастенчиво балагурят. О чем только ни болтают, какими только словами не награждают друг друга, зачастую забывая, что в комнате находится девушка.

— Это же не люди, это звери! — возмущается

Таня.

Но вошедшие в азарт водители не слушают ее.

— Эй, ты поосторожнее. Здесь женщина! — вспоминает порой один из шоферов.

— Кто это верещит? Давно ли ты изучил «азбуку» вежливости? — издеваются над защитником.

— Когда ты проходил курсы сквернословия, он уже был учеником Гришки-Посторонись, — зубоскалит кто-то.

— Можно подумать, что речь твоего деда была изыскана и, даже сходя в могилу, он произнес «Всего вам доброго», — откликается третий.

— А ты чего язвишь? Твоя бабушка, конечно, была крестной Соломона Леонидзе¹ и так усердно обмахивалась веером, что простудилась и скончалась! — издевается другой.

Долго еще незлобиво осмеивают друг друга шоферы.

Но, кроме шоферов, в диспетчерской дожидаются и клиенты.

— Танюше доброго здоровья, — появляется полный небритый мужчина, снабженец райпромкомбината.

— Спасибо, Дурмишхан! — поднимает голову Таня.

— Как дела?!

— Ты можешь радоваться!

— И что мне сегодня достанется?

— Новый «газик».

— Здравствуй, Танечка! — с этими словами появляется в диспетчерской смуглый взъерошенный молодой человек — экспедитор винного завода. — Знаю, что соскучилась, вот я и пришел.

— И прекрасно, а то я кисну без тебя.

— Надеюсь, ты исполнила мое желание?

— Конечно.

— Машина Васико?

— Я ведь обещала...

— Ты — золото! — И он довольный покидает диспетчерскую.

— Танечке желает доброго здоровья Дзуку Цур-

¹ Соломон Леонидзе (1754—1811)— выдающийся грузинский оратор, дипломат, общественный деятель, сподвижник Ираклия II.

цумия! — издали улыбается экспедитор райкоопсоюза, — Как себя чувствуешь, любовь моя! — протягивает он руку.

— Прекрасно.

— Значит, мои дела хороши!

— А ты сомневался?

Слова Тани проливают бальзам на его сердце.

— Ты не просто золото, ты червонное золото, Танечка!

Вслед за ним появляются снабженцы кирпичного завода, известкового цеха, представитель дорожно-строительного участка, экспедитор завода, изготовляющего паркет. Нет недовольного ни среди клиентов, ни среди водителей, которые договариваются между собой заранее, а Таня составляет расписание так, как их устраивает. Впрочем, разве может она не исполнить указание директора!

В диспетчерскую входит высокий, бледный, худой человек. Стоит июльская жара, а он в костюме, да еще при галстуке. На нем чистая с потертым воротничком рубашка, выглаженным, сложенным вчетверо платком он то и дело вытирает потную длинную шею. В диспетчерской он снимает шляпу и вежливо здоровается. Несколько водителей кивком головы отвечают ему, остальные не обращают на него внимания.

Это тоже клиент, заместитель директора музыкальной школы. Все, и мал, и велик, называют его батано Платон. Он застенчиво останавливается в стороне, все проходят мимо, спешат к Тане. Кто локтем заденет, кто наступит на вычищенные до блеска туфли. Платон улыбается и сам же извиняется. Ему даже не отвечают. Платон терпеливо ждет, но никто не думает уступать ему дорогу.

— Пропустите человека! — находится какой-нибудь сердобольный. — У вас совесть есть? Пропустите его, сколько он должен уступать?

— Ничего, ничего, пусть проходят! — робко произносит Платон и кивком головы благодарит заступника.

— О, батано Платон, это вы?! — с удивлением оглядывается кто-нибудь, будто только сейчас заметил Платона, и уступает дорогу. Остальные тоже расступаются.

Платон благодарит всех, проходит вперед, переги-

бается через перегородку, снова снимает шляпу, вежливо склоняет лысую голову и тихо и вежливо говорит:

— Доброе утро, Татьяна Сергеевна!

— Доброе утро, батона Платон!

— Как поживаете, Татьяна Сергеевна? — смущенно улыбается он.

— Спасибо, батона Платон, как вы поживаете?

У Тани нет времени для беседы, но ей неудобно оставлять без внимания пожилого интеллигентного человека.

— Большое спасибо, Татьяна Сергеевна!

— Что прикажете, батона Платон?!

— Из Тбилиси нужно привезти инструмент. Вот!.. — он вежливо протягивает телеграмму, извещающую о том, что пианино следует забрать немедленно, иначе его передадут другой организации.

— Я вам верю, батона Платон, вам машина нужна, конечно, сегодня?

— Да, уважаемая.

— Пожалуйста. Заявка у вас есть?

— Конечно, четыре дня назад я сам принес ее.

Таня просматривает список распределенных машин.

— Мы уже выделили вам машину. «ГРК 93-13».

Платон поправляет очки и записывает номер машины.

— А кто является водителем?

— Не является, а валяется... — смеется кто-то.

— Это же Ехидна! — говорит второй.

Платон вновь берется за карандаш, но записывать прозвище водителя ему неловко и он в растерянности вертит карандашом. Таня догадывается, в чем дело, и подсказывает:

— Дилимашвили Нодар.

Платон дрожащей рукой записывает фамилию, благодарит Таню.

— Молодые люди, где можно увидеть батони Нодара, — спрашивает Платон.

— Ехидну?

— Да...

— Да он уже ушел, — улыбаясь, отвечает ему сам Нодар.

— Что вы говорите? — огорчается Платон.

— Ну да, он уже давно ушел из гаража.

— Как это так, Татьяна Сергеевна? — пожимает плечами Платон.

Таня встает, отыскивает взглядом Нодара и выговаривает ему:

— Брось валять дурака!

— Шучу, Танечка, шучу.

— Ничего, молодые любят пошутить! — на носу у Платона выступают капельки пота.

Водители смеются. Таня хмурится.

— Пожалуйте, батона Нодар, нужно оформить путевку! — вежливо просит Платон.

— Куда ты меня тащишь? — корчит недовольную гримасу водитель.

— В Тбилиси, батона Нодар. Нужно перевезти всего лишь навсего одно пианино.

— В Тбилиси? — удивляется Нодар. — Нет, дядя Платон, я очень уважаю тебя, но в Тбилиси не поеду!

— Почему?! — Платон бледнеет.

— Моя машина не для Тбилиси, дружище!

— Хе-хе! — натянуто улыбается Платон. — А вы и в самом деле шутник.

— Мне не до шуток, дядя Платон. Мне в пору обеими руками бить себя камнем по голове! — притворяется огорченным Нодар. — Моя машина так раздолбана, что даже до трассы не смогу доехать, не то что в Тбилиси.

Водители хихикают и подмигивают друг другу.

Нодар же вошел во вкус:

— Ну хорошо... Ты, дядя Платон, в машине ничего не смыслишь, тебе простительно, но тот, кто выписывает мне путевку в Тбилиси, что, совсем ничего не соображает?!

Платон уже верит, что водитель абсолютно прав, и собирается извиниться перед ним, но в это время раздается голос Тани:

— Оказывается, мы глупые и ненормальные, да?! — Она строго смотрит на Нодара. — Я знаю, что такой исправной машины в гараже нет ни у кого! — уверенно говорит Таня и требует, чтобы он ехал с Платоном.

Но Нодар, как говорится, сел на осла. Снимайте меня с работы, а в Тбилиси за пианино я не поеду.

Нодар знает, что Таня не может снять его, а ди-

ректор никогда не сделает этого, поэтому и самовольничает.

— Как быть, Татьяна Сергеевна?! — упавшим голосом спрашивает Платон.

— Я найду вам другого водителя, — обнадеживает его Таня и просматривает список распределенных машин — ищет машину поновее, чтобы у водителя не было повода для отказа.

— Позовите Мартиашвили! — распоряжается Таня.

— Карло! — кричат водители.

Появляется светловолосый парень.

— Что прикажешь, Танечка!

— Ты знаешь этого человека?

— Конечно, это очень хороший человек, но я занят, душка!

— Занят?

— Ну да, я еду с Элисбаром, экспедитором консервного завода. У тебя так и записано.

Таня снова просматривает список.

— Правильно, но у тебя новая машина и ты можешь ехать в Тбилиси, а Элисбара повезет Ехидна.

— Нет, Танечка, не получится... Я обещал...

— Ох-ох-ох! Вы посмотрите на этого джентльмена, можно подумать, ты никогда никого не подводил!

— Подводил, но больше не буду, отныне я живу честно.

— Ну ладно, вали все на меня!

— На кого же еще валить!.. Но все равно на моей машине нельзя ехать в Тбилиси, тормоза не держат.

Не удалось уговорить и Карло. Платон с отчаянием смотрит на Таню.

— Подождите немножко, что-нибудь придумаем, — обнадеживает его Таня и говорит водителям: — Найдите мне Дарахвелидзе Ваню!

В диспетчерскую входит низкий молодой человек с белесыми ресницами, остриженной наголо головой, усеянной бородавками, с выпяченными толстыми губами и с распухшими веками, нависшими над маленькими глазами.

— Чего тебе?

— Подойди поближе! — поманила пальцем Таня.

— Поедешь в Тбилиси?

— Почему бы и нет? Ради тебя со скалы брошусь!

— Вот с ним поедешь?

— С ним? — Ваню внимательно оглядел Платона и уже собрался отказаться, как вдруг лицо его засияло, и он воскликнул: — Дядя Платон, вы? Как поживаете? — и протянул ему руку.

Платон радостно ответил на рукопожатие:

— Благодарю, хорошо! — И кивнул головой.

— Ну что, старина, в Тбилиси, да?

— Дай бог тебе здоровья! — у Платона радостно заблестели глаза.

— Выписывай путевку! — решительно крикнул Ваню.

Обрадованный Платон уже собрался снова благодарить, но осекся. Ваню вдруг скорчился и схватился руками за живот.

— Что случилось? — встревожился Платон. — Что с тобой, парень?!

— Грыжа... Ай, ай! — Ваню, скорчившись, сделал несколько шагов.

Платон уже ни о чем не помнил, с тревогой смотрел он на неожиданно заболевшего водителя и мучительно думал, как помочь ему.

— Медсестра здесь есть?

— У нас одни только профессора! — смеются шоферы.

— Вызовите «Скорую», Татьяна Сергеевна! — взмолился Платон.

— Не «Скорую», а смерть нужно вызвать, чтоб наконец избавиться от него! — рассердилась Таня.

Сдержанно похихикивающие водители разразились откровенным хохотом.

Платон все понял и недовольно покачал головой.

Таня подозвала Гиви Гогиашвили, но и его уговорить не удалось — он ехал с десятником строительного участка.

Была еще надежда на Михако Дабрундашвили, но он предпочел поехать с экспедитором винного завода.

К кому бы ни обращалась Таня, у всех находилась причина отказать Платону.

— Чтоб вы провалились все вместе! — рассердилась Таня.

Постепенно водители разошлись, лишь несколько человек ждали путевок.

— Как мне быть, Татьяна Сергеевна?! — расстроенный Платон нервно теребит в руках телеграмму.

— Потерпите, батона Платон, что-нибудь придумаем! — Таня разглядывает оставшихся водителей. «Какого черта все хотят смыться!» — думает про себя Таня.

Вдруг замечает Кнапе, который прислонился к стене в ожидании клиента.

— Кнапе! — зовет Таня.

Кнапе догадывается, почему Таня зовет его, и нехотя подходит.

— Что прикажете?

— Ты получил путевку? — хитро щурит глаза.

— Да... Колю жду.

Коля — снабженец управления бытового обслуживания.

— А если поменять?! — Таня ослепительно улыбается.

— Только дождался хорошего клиента, и на тебе! — ворчит Кнапе.

— Ничего, тебе еще не раз достанутся такие клиенты.

— Меня это устраивало. Вечером навестил бы теща и тещу...

Таня не настаивает более и огорченно произносит:

— А я так надеялась, что хоть ты повезешь батона Платона в Тбилиси.

Легкая улыбка скользит по лицу Кнапе, он качает головой.

Платон с мольбой смотрит на него.

— Батона Григол, может, откажетесь от Коли и от тещи, а?

— От тещи кто не откажется, но...

Платон с трепетом ждет ответа.

— Поедем завтра... — говорит Кнапе.

— Будет поздно, батона Григол, инструмент теряем! — и в подтверждение своих слов Платон показывает ему телеграмму. — Прошу вас по-дружески, поедем!

Кнапе глубоко вздыхает, задумывается и неожиданно соглашается.

У Тани посветлело на душе.

— Вот это мужчина! Дай путевку! — протянула она руку.

Кнапе возвращает оформленную путевку, и Ганя быстро выписывает новую.

...По голубеющей ленте шоссе мчит Кнапе своего Шамиля. Рядом сидит радостный Платон. Он высунул локоть в открытое окно, легкий ветерок обдувает лицо и треплет галстук. Взгляд Кнапе прикован к дороге, а слух обращен к Платону. Дорога хорошая, и Кнапе прибавляет скорость. Платон все же считает своим долгом напомнить:

— Осторожно, батоно Григол, не превышайте скорости!

— Не бойся, не в первый раз еду, я состарился на этой дороге.

Платон мысленно вновь возвращается в диспетчерскую, вспоминает бессовестных шоферов.

— Встречаются же такие непорядочные люди! — сокрушается он. — Ну на что это похоже, ни совести у них нет, ни порядочности, не подчиняются начальству, как хотят, так и ездят. Ты ведь сам видел, как они все осложнили, запутали. Заявку я принес еще неделю назад, и деньги перечислили заранее. Представитель культурного учреждения просит их, умоляет, а они?.. Ведь пианино необходимо их детям! В конце концов я учитель музыки!..

— Эх, кто это ценит! Будь вы не то что учитель музыки, а учитель человечества, они не взглянут на вас, если не ждут выгоды. А что вы... Какая от вас польза?!

— Не могу поверить, чтоб ваш директор ничего не знал об этом?!

— Знает, как не знать! Именно от него все и исходит. Слышал ведь, рыба с головы гниет.

— На что это похоже?! Где же человечность, совесть, честность, порядочность, правда?!

— Да бросьте вы! Нашли, о чем говорить!..

Сзади доносятся автомобильные гудки, кто-то требует уступить ему дорогу.

Кнапе прильнул к обочине, задняя машина поравнялась с Шамилем, водитель высунул руку из открытого окна и громко крикнул:



— Наше почтение Платону! — и ослабился, вывалив длинные зубы.

Платон встрепенулся, поправил очки и, неудоумевая, спросил:

— Скажи на милость, разве это не Нодар Дилимашвили?!

— Ну да, Ехидна.

— А ведь уверял, что у него машина неисправна, не дотянет до Тбилиси!

— А ты подмажь, тогда он даже на снежную вершину взлетит!

Вскоре они услышали сигналы еще одной машины. Поравнявшись с ними, из кабины высунулся водитель с бритой, усыпанной бородавками головой и, похихикивая, крикнул:

— Одолжи шляпу, дядя Платон!

Платон не верит собственным глазам, недоуменно смотрит на Кнапе.

— Узнал?

— Конечно, узнал. Странно, недавно он чуть было не отдал концы...

— Видать, дали ему такое лекарство, что он вмиг выздоровел.

Платон качает головой и горько улыбается:

— Надо же, такие бессовестные... Подождите, вернусь, я вам покажу!

— Хм! Что ты можешь сделать?

— Скажу начальству, и не наедине, при людях! Нет, я этого не потерплю, обращусь в прессу, ох, как я высеку их!

— Ах, ах, ах, как бы они не сгорели со стыда! — качает головой Кнапе.

— Если они люди, то должны сгореть, а если звери...

Кнапе не отвечает, он погрузился в собственные невеселые мысли.

Впереди на большой скорости мчится машина, в кузове громяют ящики с пустыми бутылками. Рядом с Нодаром сидит буфетчик ресторана «Салхино» и хохочет над его шутками.

За первой машиной по пятам следует машина Ванно. Он тоже старается развлечь шутками своего клиента — экспедитора мясокомбината.

Кнапе прибавляет скорость, пытается обогнать их, но Платон, бледный от страха, умоляет его:

— Осторожно, ради бога, осторожнее!

Кнапе послушно сбавляет скорость, ему жалко Платона, да и Шамиля тоже.

БАСНЯ О БЛОХЕ И МУРАВЬЕ

«Каких только шоферов не видел, но такого самоотверженного, как Кнапе, не встречал».

«Он в деда пошел, в деда».

«Тот лелеял своих буйволов, а этот своего Шамиля».

«Любит его, как первенца...» — поговаривали обычно водители.

«Он меня кормит, как же иначе?!» — удивлялся Кнапе.

И в самом деле, никто на автобазе не относился так бережно к своей машине, как Кнапе. Он никогда не нагружал ее через меру, старался не ездить по ухабистой дороге, по возможности объезжал ямы, а уж если не было этой возможности, то переезжал ее так медленно, словно боялся раздавить муравья. В кабине у него чисто и опрятно, ничего лишнего. У некоторых на стеклах машин красуется коллекция открыток с оголенными девицами, а у Кнапе — только портрет Сталина, тот, где он трубку закуривает.

Кнапе не любит, когда другой садится в его машину. И нередко водители ворчат: «Подумаешь, ведет себя, как ревнивый муж, который никому не доверяет свою жену. Можно подумать, кроме него никто не ухаживает за своей машиной».

В гараже около трехсот водителей, но Кнапе, уходя в отпуск, доверяет своего Шамиля только Никале. Если же Никала по какой-либо причине отказывался от его машины, Кнапе объявлял, что Шамиль «болен» и начинал его «лечить». Конечно же, в таком деле не обойтись без запчастей. Обычно он приобретал их у «своих парней», но порой приходилось обращаться к заведующему складом.

— Пачемник у тебя найдется? — спрашивал Кнапе у завскладом.



30230110333

— Много чего найдется, но ты ведь знаешь прави-
ло?
— Знаю, конечно! К кому обратиться?
— К старшему механику.
И Кнапе идет к механику.
— Привет, Гигло!
— Привет, Кнапе! — подымает он голову. — Чего тебе?

— Пачемник мне нужен.
— Это не ко мне, а к главному инженеру!
Кнапе идет дальше.
— Здравствуйте, батона Бондо!
— А, Кнапе! — с улыбкой встречает его главный инженер. — Чем обязан?
— Без вас не выдают пачемник.
— И я не могу дать без начальства!
— Из-за одной маленькой детали такая канитель!.. Не было бы положено, другое дело!

Инженер пожимает плечами, мол, ничего не поделаешь, таков порядок.

Кнапе идет к директору. Тот, прижимая телефонную трубку к уху, оживленно беседует с кем-то:

— Ха-ха-ха. Что вы говорите, Варлам Геронтич, что вы?! Зачем же я сижу на этом стуле, если не могу это сделать?! Тем более, для вашего приятеля... Пусть выбирает, что пожелает: такси, автобус или грузовую... Пришлите сегодня же... Нет, записка не нужна... Зачем вам беспокоиться... Да-да, дорогой Варлам Геронтич, да-да....

Кнапе догадывается, что директор разговаривает с кем-то из начальства.

Дмитрий кладет трубку, искоса смотрит на Кнапе. Опускает голову. Недовольно моргает короткими ресницами. Приход Кнапе ему явно не по душе.

— А, это ты? — он старается казаться приветливым.
— Здравствуйте! — Кнапе кивает головой.

— Здорово! — Встает и даже протягивает руку. — Садись! — Улыбается.

Кнапе предпочитает говорить стоя.
— Как поживаешь, Кнапе, — опережает его директор.

— Ничего. Как вы поживаете?



— Не жалуюсь.

Кнапе смотрит в потолок. Трудно говорить. Язык не поворачивается просить.

Дмитрий прерывает молчание.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Пачемник.

— А у нас нет подшипников, мой дорогой! — произносит директор с сожалением.

— Нету? — удивляется Кнапе.

— Нету, а то с большим удовольствием!

— А может, найдется? — смотрит в упор Кнапе.

— Скажи, на что они мне? Кому, как не тебе, дады бы, будь у меня детали.

— Есть, Дмитрий Соломонович! — уверенно говорит Кнапе.

— Откуда ты знаешь?! — багровеет директор.

— Я прямо из склада иду.

Директор краснеет до корней волос и, подавляя в себе злость, начинает оправдываться:

— Возможно... Наверное, сегодня привезли и пока мне не сообщили...

— Так даешь?

— Конечно, дорогой. Напиши заявление на мое имя, только обоснуй, для чего тебе подшипники. Заведующий складом должен письменно подтвердить, что они у него действительно есть, затем старший механик, что считает необходимым выдать, главный инженер должен подписать, что не возражает, потом принеси заявление мне и я сразу же наложу резолюцию. Разве мы не отличаем своих от чужих?! Зачем мне тебя обижать, других что ли мало?! — директор похлопывает Кнапе по плечу и натянуто улыбается.

— К чему такая канитель, столько беспокоить из-за пачемника? — Кнапе пожимает плечами.

— Нужно, хороший ты мой. Это доказательство добросовестности и ответственности. Кроме того, много на свете людей, которые любят покопаться в чужих делах, зачем вызывать подозрения? Поинтересуется кто-нибудь зачем да кому, я и ткну в глаза твое завлечение.

Кнапе усмехается.

— Вот так, дорогой Кнапе! Я тебя не обижу, из-под земли достану все, что тебе необходимо. Вот, ведь видишь, только сегодня принесли, еще не оприходована-

ли даже, а я тебе уже выдаю. — Директор давал понять, что делает большое одолжение. — Пропади все пропадом, все пройдет, все изменится, а наша дружба останется, — добавил он тоном мудреца.

— Бо-ольшое, бо-ольшое спасибо! — ухмыляется Кнапе и спешит к дверям.

— Не за что, мой дорогой! — Дмитрий провожает Кнапе до дверей. Закрывает дверь и спешит к телефону. Звонит на склад, дает нагоняй заведующему: нечего, мол, показывать шоферам, что на складе имеется, чтобы это было в последний раз, если такое повторится, вышвырну с работы пинком в зад.

Кнапе потерял почти полдня, пока получил нужную деталь.

У диспетчерской его ждал клиент, заместитель директора средней школы Юлон. Он уже так давно ждет Кнапе, что потерял терпение, держа под мышкой потерянный портфель, то и дело поправляет полинялую шляпу и, ворча, нервно ходит взад-вперед.

— Где ты до сих пор, мил человек, ты что сейчас делаешь машину?! — возмущается он, завидев Кнапе.

— Видимо, так! — невозмутимо отвечает Кнапе.

— Скоро уже час дня! — Юлон выворачивает левую руку и показывает Кнапе часы.

— Ну что делать, не могу же я остановить время!

— Все надо делать в свое время!

— Эх, мой дорогой, с этими людьми даже умереть не сможешь вовремя, — рукой показывает на разгуливающих по двору начальников. Кнапе внешне спокоен, а у самого на сердце кошки скребут.

— Ну зачем ты мне эту развалюху выдал, мил человек! — жалуется расстроенный Юлон подошедшему к ним директору.

— А это твой любимый шофер...

— Шофер-то любимый, а машина?!

— Что с тобой, Кнапе, неужто трудно заменить одну деталь! — Дмитрий делает вид, что сердится.

— Оттого слепой плачет, что ни зги не видит. А я о чем! Что, так трудно было выдать вовремя одну пустяковую деталь! — Кнапе засучивает рукава, принимаясь за работу.

— Почему вчера не потребовал? — Дмитрий хочет показать Юлону, что сердится на Кнапе.

— Я не знал, что пачемник сломался, утром заметил.

— Надо было знать, какой же ты шофер! — и Дмитрий отходит.

— Эх, лучше мне и того не знать, что я знаю! — вздыхает Кнапе и лезет под машину.

Не всякую деталь приобретешь с рук, на свои собственные, порой приходится и к начальству обращаться, обивать пороги, ничего не поделаешь. Не любит Кнапе кланяться директору, но другого выхода нет. Надо идти! И он идет, еле волоча ноги.

Секретарша останавливает его. Докладывает директору, что его хочет видеть Кнапе.

— Кнапе?! — недовольно морщится директор. — Мне некогда. Вызывают в министерство. Скажи, сегодня не могу принять.

Кнапе возвращается ни с чем.

В другой раз ему все же удастся войти. Здоровается. Дмитрий в ответ улыбается. Пораспросит о семье, а потом интересуется:

— Ну, за чем пришел?

— Какой ты хороший директор, тотчас догадался, что к тебе просто так не придешь, — смеется Кнапе.

— Так где у тебя поломка?

— Ломать я ничего не ломал, а вот покрышки изнасились.

— Как они еще до сих пор продержались! — в дружелюбном тоне директора сквозит упрек.

— Что ты имеешь в виду?

— Больше по своим делам гоняешь машину.

— Бог свидетель!.. — Кнапе разводит руками.

— Удивляешься, да? Можно подумать, что не возил дрова, какие покрышки это выдержат!

— Эх, Дмитрий Соломонович, у людей долото берет, а у меня и бритва не берет. Если в год один раз и поеду по своим делам, и то с вашего разрешения, об этом весь мир узнает, а другие и вовсе не заезжают в гараж, ездят как на собственных машинах, и им все сходит с рук.

— Лучше займемся своими делами, Кнапе, — вновь спокойно и весело говорит Дмитрий.

— Не для другого, для себя прошу покрышки! — Кнапе тоже отвечает с улыбкой.

— Скоро получим, и в первую очередь дам тебе.

— Правда?!

— Не такой я человек, чтобы пообещать и не сдер-

жать слова.

Кнапе от удивления раскрывает рот. Ну как смолчать и не сказать директору, что он не раз обещал, да толку от его обещаний мало. Но директор опережает его:

— Так вот, мой дорогой Кнапе, Шамиль скоро наденет новую обувь. Заодно, если какие-либо детали поизносились, тоже поменяем. Все шоферы будут тебе завидовать. А теперь иди, клиенты ждут! — он берет Кнапе под руку и провожает до дверей. — Привет семье! — и пожимает руку. На прощание улыбнувшись еще раз, закрывает за ним дверь и цедит сквозь зубы: — Как же, дождешься ты у меня покрышек!

Проходит неделя, вторая, третья... Другие водители получили покрышки, а Кнапе все ждет. Наконец он снова идет к директору, тот оправдывается, что получил только две пары покрышек, и те пришлось распределить по звонку выше, извиняется, просит понять его и вновь обещает. Кнапе ничего не остается, как молча покинуть кабинет.

«До каких пор он будет издеваться надо мной? Пусть откажет, черт возьми!.. Тогда и я смогу высказать ему все, что о нем думаю!».

Во дворе дожидаются его товарищи.

— Ну что, Кнапе?

— Сколько покрышек получил?

— Поделись, не жадничай, — подшучивают ребята.

— Бери, говорит, дорогой, сколько хочешь! — с горькой усмешкой отвечает Кнапе.

— Ха-ха-ха-а-а! — смеются водители.

— В толк не возьму, с чего он волком на меня смотрит, что я ему дом спалил, или змею в дом запустил?

— Не догадываешься, Кнапе?!

Кнапе, задумавшись, смотрит на собеседника.

— Помнишь, на собрании ты отхлестал кое-кого, кому тогда больше всех попало, позабыл?

— Я правду говорил. Помощи никакой, внимания на нас никто не обращает, запчастями не снабжают. А

больше я ничего не говорил! И потом, я ведь не упоминал ни имени его, ни фамилии.

— И без того все было ясно — пометка в блокноте, сделанная представителем министерства, иглами вписалась ему в сердце. Ты что думаешь, он забыл это?!

— Я ему покажу, я ему еще не такое устрою. Мне кое-что известно. Погодите, на партийном или же на общем собрании я задам ему жару!

— Да брось ты, Кнапе, не такой ты человек, чего напрасно наговариваешь на себя.

— Он кого угодно доведет до белого каления! — возмущается Кнапе и направляется к своей машине. Грозится, что вообще перестанет ездить, пусть побегают за ним, хотя и понимает, что вряд ли директор будет убиваться, если он откажется ездить. Лучше подумать, как помочь Шамилю. Побегает Кнапе и в конце концов достанет и деньги и покрышки. Приобретет Кнапе покрышки, а тут новые заботы одолевают. Постарел Шамиль, давно пора найти ему замену. Но никто не хочет пошевелиться. К кому только не обращался Кнапе, в ответ все говорили одно и то же:

— Конечно, тебе пора дать новую машину, но без разрешения директора не можем! Не будет его воли, машины тебе не видать, если даже все в один голос будут просить за тебя.

И Кнапе снова идет к директору.

— Как поживаешь, Кнапе?! — директор и на этот раз привстает, приветствуя его.

— Я-то хорошо, но...

— Дети?

— И дети здоровы, но...

— Супруга?!

— Жена тоже здорова, но...

— Так в чем же дело?

— Машина одряхла, Дмитрий Соломонович.

— Хе-хе-хе, — привычно посмеивается, — я думал, что-нибудь серьезное. Это не беда!

— Для меня это очень серьезно. Ведь машина меня кормит! Давно уже Шамиль через силу работает. Неужто я не заслужил новую машину?

— Пока у нас ничего нет, мой дорогой Кнапе!..

— Но ведь получите! Не прошу такси или автобус, знаю, сколько на них охотников. Пусть будет грузовая,

даже от самосвала или цементовоза не откажусь. Некоторые уже по два раза меняли машины, а я что, па- сынок в автобазе?

— Что ты, Кнапе. Ты у нас в передовых шоферах ходишь, того и гляди, скоро получишь грамоту.

Кнапе раскрывает рот от удивления.

— Ты должен сфотографироваться, оденься получше, не забудь белую сорочку с галстуком.

— Зачем?!

— Для Доски почета.

Кнапе качает головой.

— Выходит, ты и не знал, что представлен на почетную грамоту.

Кнапе усмехается.

— За это большое спасибо, но если я передовик...

— И эта твоя мечта осуществится, Кнапе, конечно, дадим, не век же тебе ездить на старой машине. Разве это не в нашей власти?! Напиши заявление и оставь мне!

— Заявление не сложно написать, но...

— И выдать не сложно. Не долго тебе ждать. Не забывай, что мы друзья, ты помнишь нашу клятву?

Кнапе так довольно улыбается, словно уже сидит за рулем новой машины. В кабинете же пишет заявление с просьбой выдать ему новую машину.

— Ну, Дмитрий Соломонович, я надеюсь на вас...

— Поверь мне, первый на очереди будешь ты... Подожди, помечу в записной книжке! — И красным карандашом записывает: «Кнапе новую машину».

В этот раз Кнапе поверил, что непременно получит новую машину. И даже охладел к своей старой, не ухаживает за ней как прежде.

Машины прибыли. Одна партия, вторая, третья. И автобусы, и такси, а больше грузовые и самосвалы. Но Кнапе ни одна не досталась. И он решает в последний раз зайти к директору — не машину просить, а высказать все, что наболело на сердце. Он не будет стесняться, как крапивой отхлещет его словами, заставит каяться.

Разгневанный Кнапе подходит к кабинету директора.

— Потерпите! — загораживает ему дорогу секретарша.

— Я уже давно терплю, переполнилась чаша терпения! — резко бросает Кнапе и входит.

Директор пружиной срывается с кресла, собирается выгнать нахала, ворвавшегося в кабинет, но узнав Кнапе, идет ему навстречу, протягивает руку и по-дружески журит его:

— Это ты, Кнапе? Я-то думаю, кто это крушит стены?

— Стены, говоришь?.. — Кнапе запнулся, слова, готовые сорваться с его уст, вдруг рассыпались, и он уже не смог собрать их.

А тем временем Дмитрий продолжал:

— Видать, кто-то обидел тебя, Кнапе...

«Кроме тебя, кто еще мог меня обидеть!» — собиравшись сказать Кнапе, но от злости слова застряли в гортани, и он бессвязно что-то промычал.

— Да, чуть было не забыл. Поздравляю тебя, — вспомнил Дмитрий, обнял Кнапе и расцеловал.

Кнапе остолбенел. Он не знал, с чем его поздравляет Дмитрий. «Может быть, он подписал уже приказ о выдаче мне машины, но я об этом пока не знаю», — подумал Кнапе. Когда волнение улеглось, он растерянно заморгал, улыбнулся и с надеждой в голосе спросил:

— С чем ты меня поздравляешь, Дмитрий Соломонович?

— С рождением племянника!

— Племянника?! — потухшим голосом произнес Кнапе.

— Да! Что, не обрадовался?!

— Конечно, но я...

— Я знаю, о чем ты подумал, дорогой, садись! — директор пододвинул стул, сам уселся в кресло, вытянулся, откинулся на спинку и с улыбкой победителя посмотрел на Кнапе, который стоял понуриив голову. — О машине подумал, да?!

Кнапе решил: надо хотя бы сейчас рассердиться, надо потребовать, в конце концов поскандалить, выговорить все, что накопилось на сердце за эти годы. Но он лишь подумал так.

— Эх, мой Кнапе, — вздохнул директор. — Знаю, не поверишь, и потому мне остается только повесить замок на рот и считать себя виноватым!

— Ты уже много лет обещаешь мне новую машину,

и в свою записную книжку записывал... Сколько с тех пор воды утекло, сколько получили машину...—дрожащим голосом произнес наконец Кнапе.

— Это правда. Многим я дал, но они стали на очередь раньше тебя, просто житья от них не было... Ведь машины то и дело выходят из строя, но дают всего несколько штук! А желающих сколько, ты и сам знаешь!

— Я не говорю о других, но я могу назвать троих, в том числе и Ваню!.. Разве я не должен был получить раньше них?

— Правда, должен был получить, но решал не я!

— Так кто же решал, я что ли?! — повышает голос Кнапе.

— Нельзя об этом говорить, да что поделаешь, ты свой человек, поймешь! Были звонки... — Дмитрий поднял кверху указательный палец. — Был бы ты на моем месте, посмел бы отказать?

— Не знаю... — пробурчал Кнапе.

— Не знаешь?! А у меня голова идет кругом от забот. Быть сейчас маленьким начальником — все равно, что жариться на сковородке, брат мой! У меня тысяча начальников, и нужно плясать под дудку каждого из них, в настроении я или нет — каждому должен говорить «дорогой мой», «родной мой». Ты знаешь, как это трудно?! Ведь на свое усмотрение я даже сторожа не могу назначить. Как я завидую тебе, что у тебя всего один начальник и, кроме одной машины, тебя ничего не касается! Счастливый ты человек, счастливый!

Кнапе собирался возразить, но Дмитрий не дал ему рта раскрыть.

— Я в долгу перед тобой. Скоро получим новую партию машин, и тогда не только они, — директор вновь поднял кверху указательный палец, — но даже если отец мой встанет из могилы и позвонит, все равно до тебя никто ничего не получит.

— Выходит, я могу надеяться?! — Кнапе улыбнулся. То была улыбка то ли надежды, то ли сомнения.

— Ну, а как в семье дела?

— Спасибо, ничего!

— Что дочка-то делает? Ее, кажется, зовут Кетеван?

— Да. Учится, на пятом курсе.

— На врача, верно?

— Да.

— Замуж не собирается?

— Не знаю, это ее дело.



Кнапе уже чувствует угрызение совести: зря думал плохо о директоре. Ведь вон какой сердечный человек, все о нем знает и помнит. И Кнапе еще раз покидает кабинет директора с чувством признательности и в надежде, что тот исполнит свое обещание.

Обычно Дмитрий бывает с людьми высокомерен и резок, но с Кнапе он осторожничает. Однажды он уже поплатился, когда говорил с ним грубо, и теперь он знает, что его можно взять только добрым словом. Это самый надежный способ.

Оставшись один, директор удовлетворенно прохаживается по кабинету, подходит к окну и рассеянно смотрит в пространство.

А Кнапе, спустившись во двор, признается друзьям:

— Умеет же обворожить наш директор! Так тепло и сердечно встретит, что вмиг усыпит. Уходишь от него как заколдованный. Ведь знаю, что обманывает, стараюсь не верить, но ничего не получается...

— Много таких, как ты, обводил он вокруг пальца, не ты первый, не ты последний.

— На сей раз, думаю, он не обманет, ведь в гараже уже нет такой дряхлой машины, как у меня! — успокаивает себя Кнапе.

Проходит время. Вот и новую партию машин получили, а Кнапе вновь ни с чем. Не дожидаясь вечера, бросает он все дела, раньше времени загоняет машину в гараж и в ярости устремляется к кабинету директора.

— Что случилось, Кнапе?! — спрашивают встречные.

Кнапе отмахивается, отстаньте, мол.

По коридору навстречу Кнапе идут двое. Один из них — Дмитрий Соломонович, а второго Кнапе не знает. Одет этот второй в модный блестящий костюм и производит впечатление «большого и ученого» человека.

Кнапе останавливается и, задыхаясь от гнева, отходит в сторону.

— Ты куда, Кнапе?! — Дмитрий останавливается, заискивающе улыбается и протягивает ему руку.

Кнапе не отвечает на рукопожатие, произносит сердито:

— К тебе!

Дмитрий догадывается, в чем причина гнева Кнапе, боится, как бы он не начал скандалить при госте и потому, как всегда, изворачивается:

— Видать, клиенты разозлили? — хлопывает он Кнапе по плечу.

— Не клиенты, а...

— Познакомься, Кнапе, это начальник управления из нашего министерства!

Директор представляет гостя, который галантно здоровается и, протягивая руку, называет свою фамилию.

Кнапе вынужден вежливо ответить, он чувствует как у него постепенно отходит злость.

— Пойдем с нами, — Дмитрий берет Кнапе под руку. — Пообедаем.

Кнапе пятится назад.

— Прощу вас! — вежливо приглашает гость.

Кнапе неудобно отказываться и он, тяжело ступая, идет с ними. Они садятся в машину и едут в ресторан «Салхино».

— Это друг моей юности! — говорит Дмитрий о Кнапе. — Ели из одной тарелки, вместе подставляли грудь огню.

Кнапе пытается улыбнуться.

— И это мой лучший друг! — указывает директор на гостя.

Кнапе с удивлением смотрит то на одного, то на другого. Слово за словом — и обида отпустила Кнапе, он пришел в благодушное настроение.

— Я виноват перед Кнапе, обидел я его! — жалуется гостю Дмитрий Соломонович. — Давно уже он ездит на старой машине, и, как назло, все не могу выделить ему новую. Ничего не поделаешь, приходится обижать ближнего...

— Неужто это так сложно? — удивляется гость. — Завтра же пришлем новую машину. Какую желаете, батона Кнапе? — поворачивается к нему гость.

Кнапе теряется от радости и невнятно шепчет:

— Мне все равно...

И хозяин, и гость твердо обещают, что в ближайшее время Кнапе сядет за руль новой машины.

На этот раз Кнапе уверен, что его не обманут. Ес-

ли Дмитрий не сдержит слова, то этот уважаемый человек непременно исполнит обещание.

Вновь прошли чередой дни, недели, прошел месяц, второй, пошел третий, а Кнапе все еще ездит на своем стареньком Шамиле.

— Никому нельзя верить! — сетует Кнапе. — Это какой-то заколдованный круг.

— Ну что, Кнапе, когда получишь новую машину? — интересуются товарищи по работе.

— Жди у моря погоды!.. Да я уже не хочу другой машины! Так и помрем вместе я и мой Шамиль!

— Ты пойди к Соломоновичу, не отступай.

— Подожду еще немного, и если и на этот раз обманет, то не сдобровать ему. Пойду прямо к секретарю райкома, и уж поверьте, нашему Дмитрию придется убраться отсюда в более отдаленный край, — грозит Кнапе.

— Перестань, Кнапе, скандалом ничего не добьешься!

— А что мне еще остается? Посоветуйте, как мне быть?

— Ты что, в самом деле не знаешь, как надо поступать в таких случаях? Знаешь басню о блохе и муравье, Кнапе?!

— Нашли время басни вспоминать!

— Нет, ты скажи, знаешь?

— Знаю, — говорит Кнапе потухшим голосом, — даже наизусть учил.

— Учить-то учил, а смысла, видать, так и не понял? Не столь уж много таких басен. Если уж блоха, жертвуя собой, спасает попавшего в беду муравья, то человек человеку не должен помочь, а?

— В этом ты абсолютно прав, но если заглянуть поглубже, то в басне этой другая мораль.

— Да оставьте, ради бога, — машет рукой Кнапе и собирается уходить.

— Подожди, подожди, Кнапе!

— Ну, что вам еще надо?! — полуобернувшись, отвечает Кнапе.

— Муравей ведь упал в воду?

— Упал. Ну и что?!

— Чтобы вытащить муравья, потребовалась веревка?

— Потребовалась.

— У кабана попросил он щетину, чтобы сплести веревку и вытащить друга?

— Ну! — Кнапе смотрит с удивлением.

— А что потребовал кабан, если помнишь?

— Желудей.

— И что сказал дуб?

— Избавь меня от вороны.

— Ворон попросил цыпленка?

— Попросил.

— Курица попросила просо?

— Попросила.

— А яма — избавь от мыши, так?

— Да.

— Кошка любит молоко?

— Любит, и тоже поставила ультиматум.

— Корова попросила траву?!

— Верно... — подтверждает Кнапе.

— Ну и вот! — Водитель, так хорошо знавший басню, усмехнулся, засунул руки поглубже в карманы и повернулся спиной.

— Ну и что потом? — Кнапе остановил собеседника.

— А ты сам сделай вывод.

Кнапе задумался.

— Не догадался?

Кнапе покачал головой.

— Если нашему начальнику не принесешь желудей, щетину он тебе не даст, дорогуша! — собеседник глубоко втянул голову в плечи.

Проходили месяцы, а Кнапе все возился со своим обессиленным Шамилем. Машина уже не была в состоянии выезжать за пределы города, а впрочем, ее и не выпускали.

Дома его постоянно пилили.

— Ну, что ты прилип к этой развалюхе, она должна пережить тебя, что ли? В три раза больше того, что ты зарабатываешь, тратишь на нее, а много ли ты имеешь! — возмущалась жена.

— Ну что мне делать, Мариам? Лишь ты да Шамиль — моя надежда... — спокойно отвечает Кнапе.

— Брось ты ее. Обвенчали тебя с ней, что ли!

— И ходить, заложив руки в карманы, да, Мари-ам?! Мари-ам?

— Вообще уходи с работы. Что, свет клином на них сошелся? — вновь сердится жена.

— Да, ты права. Как раз мне предлагают должность министра, наверное, нужно соглашаться! — шутит Кнапе.

— Что, больше нигде работать? Обратись в совхоз или на завод, слава богу, столько других организаций в городе!

— На каждую машину приходится по три водителя, не так-то легко устроиться на работу!

— Для тебя все непросто!

— Потерпи еще немного, такую машину прикачу, весь город будет завидовать. Новую партию ждут.

Получили и эту партию. И другую. Но мечте Кнапе не суждено было исполниться.

* * *

Дни сменяли друг друга, словно листья на деревьях...

Однажды в гараж въехало новенькое такси.

— Доброе утро, ребята, — из машины высунулся Кнапе и, помахав рукой, улыбнулся.

— Здорово, Кнапе!

— Привет!

— Привет таксисту! — оживились шоферы.

— Ну что, старина, выбил-таки машину?

— Какую «Волгу» отгрохал?!

— Совсем новенькая!

— Хороша!.. Ей-богу, хороша! — водители вертелись вокруг машины, с завистью рассматривали ее.

— Ну конечно, а как же!

— Когда привез?

— Вчера. Поздно вечером приехал и поставил во дворе.

— Признавайся, положи руку на сердце, во сколько обошлась?!

— Ни копейки, клянусь детьми! Но обмыть ее с начальством пришлось, без этого ведь никак нельзя.

— Насолил ты, выходит, Дмитрию Соломоновичу?
— Да еще как! — смеется Кнапе.
— Ты, оказывается, хитрец! Стал кумом первого человека района, теперь не то что такси, захочешь — ракету получишь.

— Клянусь вам, я тут ни при чем. До помолвки я ничего и не знал, а эти сукины дети, оказывается, давно любят друг друга!

— Под счастливой звездой ты родился, Кнапе.

— А как же! Знай наших!

— Хорошая у тебя дочь, дай бог ей счастье!

— Да и ты парень что надо, заслужил! — благоговяли Кнапе водители.

— Большое спасибо, ребята! — Кнапе прикладывает руку к сердцу. — В зарплату обмоем мою новенькую... — И Кнапе заводит машину.

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

— Человек должен или работать, или кутить, — шутит обычно Кнапе.

А в тот день он и не работал, и не кутил. На его машине выехал напарник. В саду ничего не надо было делать. И по дому не нашлось для него работы, и выпить стаканчик да поговорить по душам не с кем. Хотя, признаться, самому не больно хотелось, а то охотники, конечно же, нашлись бы. Кто откажется от хорошего вина и теплой беседы.

— Эх, погодка сегодня — ну просто для кутежа, что скажешь, Мариам? — Кнапе потер руки. Вчера пришли дочь и внук. Эти гости не в счет, никто из них не мог составить ему компанию, а зять уехал в командировку.

В печке весело потрескивали дрова, в комнате было тепло и уютно. По телевизору показывали детский концерт и маленький Алико старался подражать танцорам: он широко развел ручонки и топал ножками. Дедушка был на седьмом небе от счастья.

— Мариам, посмотри, что выделывает наш внук! — окликнул он жену.

Послышался автомобильный сигнал.

— Посмотри, Мариам, не зять ли приехал?
— Сейчас взгляну! — сказала Мариам и поспешила к двери.

— Неужели он так скоро вернулся! — удивилась Кетино и тоже вышла из комнаты.

Кетино — это дочь Кнапе.

— Твой начальник! — входя, сказала Мариам.

— Мой начальник?! — удивился Кнапе. — Не зря глаз дергался! — Встал, просунул ноги в шлепанцы, вышел на балкон; перегнулся через перила: — Привет, Дмитрий Соломонович! Пожалуйте!

— Если не трудно, спустись, батона Григол!

Григол — так ведь зовут Кнапе, хотя никто об этом уже и не помнил.

Кнапе спустился, пожал директору руку.

— Мне нужно сказать два слова.

— О чем речь? Разве не лучше дома поговорить?

— Можно, конечно, но...

— Ну и пошли в дом!

Дмитрий вышел из машины, и они поднялись по ступеням. На балконе стряхнули снег.

Кнапе пригласил Дмитрия в комнату.

— Заходи, заходи! Ты, кажись, впервые у меня?!

— В старом доме бывал, а в этом нет.

— Ну что поделаешь, брат, сколько ни приглашал, ты все отказывался. Не удостоил чести...

— Эх, нет времени, Григол Михайлович, а то...

— Вы, начальники, всегда заняты. Садись... — Кнапе придвинул стул.

Дмитрий сел, согрел руки над гудящей печкой.

— Хорошо-то как у вас, тепло!

— Да, да!

— Февраль все же показал свой нрав, а говорили, что зима забыла нас. Вот она и не преминула придти. Посмотри, как валит снег!

— Пусть столько валит, пока не надоеет самой зиме, дров у меня, слава богу, много и вина хватает! Мариам! — окликнул жену Кнапе.

— Сию минуту! — Мариам догадалась, зачем ее зовет муж, — только подождите еще немножко...

Малыш проскользнул в комнату, подбежал к деду.

— Нехорошо получилось, — смутился Дмитрий. —

Я не знал, что малыш у вас, а то не пришел бы с пустыми руками.

— Ну что ты, Дмитрий Соломонович, ни к чему все это.

— Как зовут малыша?

— Как дедушку.

— Григолом?

— Нет, как второго дедушку. Алекси... Алико.

— На мать похож или на отца?

— Одни говорят — на мать, другие считают, что на меня похож!

Дмитрий посмотрел на малыша и перевел взгляд на Кнапе.

— Да, брови и лоб твои.

Кнапе зарделся от удовольствия.

— С родственниками наверняка в хороших отношениях, Григол Михайлович, а?

Кнапе запоздал с ответом. И не потому, что не знал, что ответить. Резало ухо непривычное обращение — Григол Михайлович. Не то, что по имени и отчеству, а даже просто по имени уже давно не обращался к нему этот человек. Кнапе... Он так свыкся с этим прозвищем... С чего это директор вспомнил имя его покойного отца! В чем тут дело? И голос у него такой бархатный, вкрадчивый, так он обычно разговаривает с начальством. Определенно здесь кроется какая-то тайна...

— А, Григол Михайлович, с родственниками, наверное, хорошие отношения, не так ли?

— Очень хорошие. Признаться, я боялся, как бы он не задира л нос, но у него оказался золотой характер. Для меня у него открыты и сердце, и двери дома!

Тем временем Мариам накрыла на стол. Гость стал отказываться, мол, не до застолья...

— Ну что ты, Дмитрий Соломонович! Да как я могу не выпить за твое здоровье?! Мы ведь не чужие! Да ты гляди, какие хачапури! — Кнапе пододвинул к нему тарелку с горячими хачапури. — Ешь на здоровье, Дмитрий, ешь! Вот это здорово, что ты пришел, я как раз думал о том, что хорошо было бы, если бы кто заглянул в гости.

Выпили за встречу. И за хозяйку тоже выпили.

Наполнили стаканы в третий раз. Гость опередил

хозяина, поднял стакан и попросил разрешения произвести тост.

— Ты что, надумал уходить?! — забеспокоился Кнапе.

— Нет, Григол Михайлович, просто — очередной тост, не более!

— Пожалуйста, только надеюсь, не последний!

— Нет, нет!.. За нашу дружбу, Григол Михайлович! — И Дмитрий заговорил высокопарно о величии и красоте дружбы, призвал на помощь Руставели. И народную сокровищницу вспомнил, и классиков марксизма. И даже говорил о моральном кодексе советского человека.

Кнапе недоумевал. Как у него поворачивается язык говорить о дружбе! Кнапе пристально смотрел в глаза гостю и вспоминал те горькие дни, когда тот издевался над ним. Но с тех пор прошло много времени, и он уже не держал обиду на Дмитрия. Тем более, прошло больше года (с того дня, как Кнапе сел за руль такси), как директор обращался к нему не иначе, как «дорогой» и «Григол Михайлович». Знал Кнапе, почему Дмитрий вдруг возлюбил его. Словом, Кнапе не считал Дмитрия другом, но то ли неписанные законы гостеприимства, то ли доброта и мягкосердечие не позволили ему прерывать неуместный тост. Он предпочел подыграть Дмитрию и молча кивал головой.

А гость, подняв высоко бокал и низко опустив глаза, продолжал свою витиеватую речь. Вспомнил детские годы, как бегали они босиком, как плескались в волнах Куры, как воровали в огороде у вдовы Макринэ огурцы, вспомнил учителя Кириле с его неизменным окриком «угомонись, парень!». И войну вспомнил, и как недалеко от них взорвалась бомба и Дмитрий непроизвольно вскрикнул «Мамочка!». Вспомнил, как Кнапе ударил головой в нос пленного «фрица». Затем Дмитрий выразил сожаление, что на время их пути разошлись, а потом поблагодарил судьбу за то, что они оказались в одной организации.

Кнапе сдержанно улыбался.

— Эх, никуда не годится это, не годится! — гость покачал головой.

— ?!

— Мы с тобой всегда были друзьями, и стыдно, что наши жены вообще не знакомы!

Кнапе молчал.

— Высечь надо нас обоих, высечь! — распалился гость.

— Зачем же обоих, дорогой мой? — улыбнулся Кнапе. — Ведь ты задрал нос, а не я. Ты у нас большой начальник, не чета нам, простым водителям.

— Ну, ладно, да и ты хорош! Я тоже могу кое-что припомнить... — гость попытался отшутиться.

— Помнишь, как ты хотел уволить меня? — с усмешкой напомнил Кнапе.

— Да это я всего лишь испытывал тебя! Ведь не уволил?! А ты и впрямь разозлился, ругал меня на чем свет стоит и даже грозился отправить в Сибирь! Ха-ха-ха! Знаешь, как ты был смешон, Кнапе?! — гость хлопнул хозяина по плечу, обнажив ослепительно белые зубы, будто и не было между ними стычек, не было обид.

Кнапе тоже рассмеялся.

— Уж очень ты вспыльчив, Кнапе, очень вспыльчив. Не знай я, какое у тебя доброе сердце, давно бы с тобой рассорился! — гость снова хлопнул Кнапе по плечу.

— Будь я вспыльчивым, не состарился бы на одной машине...

— Иначе нельзя было, Григол Михайлович, врагов у меня больше, чем друзей. Поступи я иначе, посыпались бы анонимки, жалобы. Я-то людей знаю... Ну что ты кривишь рот. В итоге я ведь дал тебе новенькое такси?! Знаешь, небось, как я выбил эту машину, изрядно пришлось попотеть!..

— Попотеть?! — Кнапе усмехнулся.

Гость почувствовал, что перестарался и заговорил о другом.

— Рад, рад за тебя, Григол Михайлович, хороший получился очерк. И свояку, небось, было приятно.

— Ух, очень!

— Рад, что ты породнился с такими хорошими людьми.

— А чем плохи мои другие родственники? Или, может быть, я плох?!

— Нет, что ты?! А вообще-то как он, прислушивается к твоим словам?

Кнапе не понял гостя.

— Ну, допустим, ты можешь попросить его о чем-то?

— Конечно! На то он и родственник! Вот недавно попросил я его устроить на работу нашего дальнего родственника. Так он на другой же день нашел ему работу.

Дмитрий Соломонович оживился. Кнапе поздно догадался, куда клонил гость, и пожалел, что расхвастался. Но отступить уже было некуда.

— А может, и у тебя какая-нибудь просьба?

— Коли уж пришлось к слову... — гость запнулся, опустил голову, покраснел. Чувствовалось, что ему трудно говорить, унижаться.

Кнапе сочувственно улыбнулся.

— Что-то беспокоит тебя, батона Дмитрий! Говори, мы ведь братья! — последние слова прозвучали несколько иронично. Но гость сидел, задумчиво опустив голову, и не обратил на это внимания. Наконец с трудом проговорил:

— Наверное, ты уже слышал?..

Кнапе напрягся.

— Меня собираются переводить на другую работу...

— Я не слышал!

Гость медленно поднял голову и испытующе посмотрел на Кнапе.

— И куда тебя переводят?..

— На добычу извести...

— Директором?

— Да... Но там быть что директором, что подчиненным, все одно.

— Почему тебя переводят?

— Не знаю! Причина всегда найдется. Мол, там надо наладить работу, прежний директор все развалил... Эх, Григол Михайлович, разве меня проведешь на этом? Я-то догадываюсь, где собака зарыта.

— Кому пришла эта мысль в голову?

— Твоему свояку.

Кнапе задумался.

Гость внимательно смотрел ему в глаза.

— У меня такой стаж работы в АТК!.. И дело знаю

хорошо, и людей. Я сжился с ними. Жаль расставаться, славные ребята, а то вообще бы уехал отсюда...

Кнапе молчал.

— Ты должен мне помочь, Григол Михайлович! — гость с надеждой взглянул на Кнапе.

Тот по-прежнему молчал.

— Да... чувствую, просьба моя озадачила тебя, — заметил Дмитрий.

— Очень трудно мне просить за тебя, — промолвил Кнапе.

— Трудно?!

— Был бы ты достоин, полбеда... — улыбаясь, продолжал Кнапе.

Дмитрий покраснел.

— Ты шутишь, Кнапе, а мне не до шуток.

Кнапе не ответил.

— Ты ведь мужчина, Григол, а мужчины не держат обиды, тем более на друга. Мы должны говорить с высокой позиции дружбы, как подобает мужчинам.

— С каких это пор ты так возвысился?!

— Григол, дорогой, сделай для меня это доброе дело, прошу тебя, и ты убедишься, что я умею ценить добро!

Дмитрий смотрит на Кнапе так, как безнадежный больной смотрит на доктора в ожидании смертного приговора.

Кнапе махнул рукой.

— Эх, была не была, пойду к нему! Он ведь такой же человек, как и я!

— Дай твою мужественную руку! — радостно произнес Дмитрий. — Ты настоящий мужчина, мой дорогой, мой великодушный друг! — он обнял Кнапе и расцеловал. Потом он сердечно поблагодарил хозяйку, потрепал по щеке маленького Алико и вышел.

Кнапе проводил его до машины.

— Ну, я надеюсь на тебя! — сказал гость, прощаясь.

Кнапе вернулся в дом, протянул озябшие руки к печке и, покачивая головой, сказал:

— То-то я удивился, с чего это он вновь вспылал ко мне любовью? Без повода он не приехал бы, как я сразу не догадался?

— Ну, ты хорош! Ты-то сам знаешь, как выглядит дверь его дома?

Кнапе улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— С чего это ты так распинался перед ним?

— А что было делать?! — Кнапе пожал плечами.

— Не знаешь, да? Надо было плюнуть ему в лицо, а потом спустить с лестницы...

Кнапе, как провинившийся школьник, опустил голову.

— Он последний кусок вырывал у тебя изо рта, — продолжала Мариам, — проходу не давал, как злой дух, преследовал, только и знал, что вредил, а ты, похоже, и жизни для него не пожалеешь, так он полюбился тебе! Ты молишь на свою Кетино, а то бы он своего добился.

— И все же я заставил его унижаться! Ох, ох, ох, как он пресмыкался, как он ползал на животе... Все ему вышло носом! Ты что думаешь, он получил удовольствие от застолья?! Как бы не так. Я ведь знаю, что ему до смерти не хотелось приходить ко мне, к тому же еще и просить. Да, не раз пробирал его холодный пот в ожидании моего ответа.

— Не беспокойся, не так уж он сгорал от стыда, как тебе кажется. Когда это было, чтобы бессердечного и бессовестного человека мучили угрызения совести?... Ты и в самом деле собираешься ему помочь?!

— Не могу же я отказаться от своих слов! Я ведь мужчина!

— Это с мужчинами надо быть женщиной, а не с негодьями.

— На зло надо отвечать добром, тогда и злыдень очистится и смягчится...

— Или еще больше озлобится!

— Если озлобится, тогда и мне придется показать зубы!

— У тебя ум и сердце ребенка.

— Такой уж я человек, ничего не поделаешь!

* * *

Прошло несколько дней. Случилось так, что Кнапе пришел на работу позже обычного.

— Батоно Ладо, я рад видеть вас! — Кнапе про-

тягивает руку начальнику эксплуатационной службы. Тот мрачно и нехотя отвечает на приветствие.

— Как поживаете, батона Ладо?

— Где ты до сих пор пропадаешь? — в ответ сердится Ладо. — Посмотри на солнце!

— Ох, какое сегодня прекрасное солнце! Оно улыбается, как красивая женщина...

Шоферы смеются над шуткой Кнапе, а Ладо мрачнеет еще больше.

— Как я погляжу, трудовая дисциплина тебя не касается! — сердится Ладо.

— Что поделаешь, батона Ладо, вчера я лег очень поздно и утром едва оторвал голову от подушки.

— Это не разговор! — повышает голос Ладо.

— Виноваты мои друзья, такие же хорошие парни, как ты, — улыбается Кнапе, оглядывается, подмигивает ребятам и продолжает: — Гости были у меня, а ты ведь знаешь, что лучше жене изменить, чем гостям. Тем более, таких славных людей привел мой свояк...

— Да ну тебя! — ворчит Ладо и поворачивается к нему спиной.

— Кнапе! — окликают его из окна. — К начальнику!

— Иди, иди, он-то уж справится с тобой! — качает головой Ладо.

— Можно? — Кнапе смело открывает дверь кабинета директора.

— Входи, входи, Кнапе! — Дмитрий встает и, широко раскрыв руки, направляется к Кнапе, тепло здоровается, спрашивается о здоровье.

Они беседуют, как давние друзья.

— Сколько лет ты за рулем? — неожиданно спрашивает директор.

— Не знаю, пожалуй, сколько помню себя, — говорит Кнапе.

— И все это время работал водителем?

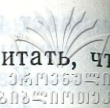
— А кто бы сделал меня начальником?

— Да, пришло время выдвинуть тебя!

Кнапе рассмеялся.

— Куда это?

— На место Ладо, начальником эксплуатационной службы. — Дмитрий, вытянув шею, следит за Кнапе. Интересно, обрадуется он?



А Кнапе, смеясь, говорит:

— Ты только не трогай Ладо, и будем считать, что я уже начальник эксплуатационной службы.

— Слушай, соглашайся, раз предлагают, все остальное пусть будет на моей совести.

Кнапе молчит.

— Что скажешь?

— Это так неожиданно... — Кнапе качает головой.

— Не справишься?

— Справлюсь, конечно, но...

— Что но?

Кнапе раздумывает.

— Зарплата будет вдвое больше.

— Пропади пропадом эта зарплата, не в ней же дело!

— Знаешь, какое это место?! Только надо быть гибким.

— Боюсь, что не по мне эта самая гибкость...

— А я здесь для чего?!

Кнапе молчит.

— Ты столько для меня сделал, вот и я не хочу оставаться в долгу. Знаешь ведь, стоит мне только намякнуть, сто человек, стирая подметки, ринутся на это место.

— Пусть идет тот, кому очень хочется, я же предпочитаю есть свой кусок хлеба. Нет, не по мне это... — смеется Кнапе.

— И кум твой меня поддерживает. Ну что скажешь? — не отстает Дмитрий.

Кнапе молчит.

— Иди и подумай как следует, завтра придешь с ответом.

Кнапе прощается. Задумавшись, спускается по лестнице.

— В чем дело, Кнапе? — интересуются шоферы.

— Этот паршивец ни друзей не признает, ни родственников, — потирает ладони Кнапе.

— Что, досталось тебе?

— Пропесочил меня за опоздание! — сказал Кнапе громко, чтоб слышал Ладо.

Водители не очень-то верят ему. Ладо ворчит:

— Нет, чтоб вовремя приходите на работу. Вот и мне теперь из-за тебя достанется.

Кнапе, посмеиваясь, подмигивает товарищам и перевешивается через окошко диспетчерской за путевкой. Ничего, что выезжает с опозданием, дневную норму он все-таки выполнит.

Прошло два дня и начальник вновь вызвал к себе Кнапе.

— Ну что, надумал? Переходишь?

— Нет! — твердо произносит Кнапе.

ЧЬЯ ОНА, ЧЬЯ, КРАСАВИЦА?

Красота всегда находит своих почитателей, и не удивительно, что у Тани появились многочисленные воздыхатели. И виной тому не только ее красота. Мужчин пленила чистота ее натуры, ясная улыбка, доброе сердце, смелость в суждениях. Но Таня могла выбрать только одного, лишь один мог быть достоин ее, хотя она и была одинаково приветлива со всеми.

— Ну и глаза у тебя, Танечка, покой от них можно потерять! — бывало, рискнет сказать кто-нибудь из ребят.

— Смотри, не ослепни от моей красоты.

— Мне бы разок чмокнуть тебя в щечку, а там хоть умирай.

— Ишь чего захотел, скажи спасибо, что смотришь на меня! — как бы сердится Таня.

— Не сердись, Танечка, твоя улыбка для меня что улыбка мадонны.

— Я готова улыбаться весь день, лишь бы ты убрался отсюда... — шутила Таня.

— Мне бы пройтись с тобой, счастливее меня не было бы человека на свете, — вздыхал другой.

— Ты сначала помолись богу, чтоб он дал тебе немного ума, — парировала Таня.

— Ну и девка! Язык — что бритва, — ворчал осмеянный.

— А ты чего уставился как баран на новые ворота?!

Да, Таня никому не давала спуска, хоть и улыбалась всем, но к сердцу своему никого не допускала.

— Жаль, такая девка пропадает, — сожалели родители.

— Будьте спокойны, в ее сердце найдется кое для кого местечко.

— Танечка, наверное, и сама мечтает избавиться от пылкой любви небезызвестного нам человека, — поговаривали те, кто не спускал с Тани глаз.

Поговаривать-то поговаривали, однако назвать того, кому принадлежало Танино сердце, не могли.

— Интересно, кто этот счастливец? — спрашивали одни с завистью. — Шофер?

— Кто же еще...

— Не Тристан ли, наш Пожалуста?..

— Ну что вы, она его и на пушечный выстрел не подпустит.

— Это еще почему?

— К ней такой красавец сватался, вылитый Амиран, она за него не пошла, неужто она Пожалуста предпочтет?

— Поживем—увидим...

— Спорим...

— На что угодно!..

— Да ты не смотри на него так, разве есть у нас кто-нибудь лучше? Просто он не похож на тех, кто сквернословят да норовят урвать побольше.

Спорить — спорили, но до истины так и не докопались.

Тристан, стройный красивый парень, появился в автопарке года два назад. Грешно было сажать такого красавца за самосвал, вот и дали ему новенький автобус. Он любил свою машину, как хорошо выдрессированного коня, холил и лелеял ее. Не смотрел в руки пассажирам, подобно некоторым шоферам, не гнался за звонкой монетой, наоборот, любил во всем порядок, старался уложиться в график, подъезжая к остановке, широко распахивал обе двери. Любили его в городе за сдержанность, за добрый нрав. Его не увидишь на работе небрежно одетым, хотя, известное дело, шоферам нередко приходится выполнять самую черную работу. Когда возникала необходимость засучив рукава лезть под машину, Тристан перепоручал эту работу другому и, расплачиваясь, не скупился.

Водители нередко ворчали:

— Если ты настоящий шофер, ходи замызганный, как мы, чего франтишь?

— Можно подумать, вас заставляют ходить чума-
зыми! Видать, вам это больше нравится, по Сеньке и
шапка! — не оставался в долгу Тристан.

— В каком народе живешь, того и обычая дер-
жись...

— А чем я вам не нравлюсь? Чем не угодил? Смо-
трите, пожалуйста.

Водители уже и не помнят, кто первым дал Триста-
ну прозвище Пожалуста.

— Слушай, Тристан, ты со своей внешностью и ма-
нерами должен сидеть в министерском кресле, — гово-
рили друзья.

— Потерпите немного, я не заставлю вас долго
ждать, — отшучивался Тристан.

— Будь у тебя мозги в голове, ты бы и в самом де-
ле многого добился...

— На вас у меня и мозгов хватит, и денег, — не
сдавался Тристан. Он ни в чем не уступает друзьям,
разве что не сквернословит и сальных анекдотов не рас-
сказывает. Но друзья его не теряют надежды.

— Дайте срок, и он будет выражаться похлеще
нас.

Таня давно обратила внимание на водителя, столь
не похожего на разгульных, грубоватых шоферов. Ук-
радкой бросала она взгляд в его сторону, но, боясь, как
бы другие не заметили, отводила его, гасила вспыхнув-
шее в глазах тепло, а спустя время взор ее вновь не-
вольно устремлялся в его сторону, и тогда она уже не
спускала с него долгого взгляда, читая в ответном взо-
ре Тристана те же чувства. Долго еще хранили они в
себе свои чувства, боясь произнести то одно-единствен-
ное слово. Да, это слово не было произнесено, но взгля-
дами они давно уже все сказали друг другу.

Таня никогда не опаздывала на работу, и стоило
ей появиться, как следом в диспетчерскую входил Три-
стан, облакачивался о стойку и широко улыбался.

— Доброе утро, Танечка...

Таня поднимала глаза, смотрела на него долгим
взглядом и спрашивала тихо:

— Что угодно?

— Чтоб ты была счастлива, Таня.

— Спасибо за доброе пожелание, — вкрадчиво от-
вечала Таня и заполняла путевку. С особой любовью

выводила его имя и фамилию, протягивала ему документы и тотчас опускала голубые глаза, а он поворачивался и волочил к выходу отяжелевшие пудовые ноги.

Подоспевшие к тому времени водители провожали Тристана ревнивым взором, но поскольку Таня была и с ними любезна, не жалела улыбки, то зависть вскоре улетучивалась, и каждый из них петушился, стараясь понравиться ей.

И на следующий день Тристан приходит раньше других. Но как назло следом в диспетчерскую вваливаются несколько человек — и Тристан вынужден, получив свою путевку, покинуть диспетчерскую.

И все-таки Тристану удается улучшить минуту, пока шоферы копошатся возле своих машин. Он входит в диспетчерскую и нерешительно подходит к стойке.

— Как поживаешь, Танечка! — улыбается он.

— Как спрашиваешь... — продолжая что-то писать, отвечает Таня и украдкой смотрит на него. Тристан любит этот теплый взгляд и глаза его искрятся в ответ.

— Я спрашиваю тебя от всего сердца, Таня!

— И я отвечаю тебе от всего сердца!

Тристан вздыхает.

— Тебе что нужно?

Тристан притворяется, что пришел по делу, разворачивает перед ней собранные бумаги, просит что-то там подсчитать.

Девушка незаметно улыбается, не показывает, что догадывается обо всем, и с удовольствием исполняет его просьбу.

Тристан осторожно заходит за стойку, садится рядом.

— А сюда нельзя входить!

— Почему?

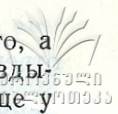
— Нельзя — и все!..

Далее следует разговор глазами.

Не хочется, ой как не хочется им расставаться, но Таня находит в себе силы сказать:

— Иди, Тристан, займись делом!

Он понимает, что Таня не гонит его, она говорит это потому, что боится, как бы кто-нибудь не застал их вместе, потом сплетен не оберешься. С трудом идет Тристан к двери, поворачивается.



— Уйди, говорят тебе! — произносит она строго, а взгляд говорит другое. Когда же он выходит, она вздыхает — так тяжело, с таким надрывом, будто сердце у нее разрывается на части.

Долго еще продолжался их молчаливый диалог глазами. А впрочем, к чему были слова, все равно им не высказать всей глубины их чувства. Они испытывали сладостное волнение. Как, оказывается, это прекрасно, когда ты любишь! Солнце вставало только для них! Небо озарялось только для них. Земля расцветала — только и только для них. Как и всем влюбленным, им казалось, что весь мир принадлежит им и счастливее их нет никого на свете.

Как ни берегли они свою тайну, не укрылась она от зорких глаз друзей Тристана.

— Ну что, старик, покорил-таки ее сердце?!

— Чье? — пожимает плечами юноша.

— Тани, кого же еще!

Тристан краснеет.

— Да, досталась тебе девушка, прекрасная, как звезда. А ты краснеешь! Гляди, как Балаболка Котик хвастает своей ведьмой, как хозяин — хорошим скакуном, а ты краснеешь. Ты должен день и ночь благодарить свою судьбу!

— Любовь надо скрывать, — отвечают за Тристана другие.

— Почему, братец, это ведь тебе не дармовые деньги, чтобы скрывать, — шутит второй.

Тристан с улыбкой посматривает то на одного, то на другого.

Как только шоферы убедились, что сердце Тани отдано Тристану, они перестали «подъезжать» к ней, шутить, как шутили, бывало, до этого. Может, кое-кто и бросал на нее украдкой дерзкий взгляд, но это можно было понять: шоферы ребята избалованные, и Таня была, на их взгляд, лакомым кусочком. Но большинство водителей относилось к ней нежно и бережно.

Они не скрывали, что знают о тайне влюбленных. Перегнувшись через перегородку, один из шоферов спрашивал шепотом:

— Куда сегодня направляешь меня, невестушка? — и хитро посматривал.

— Твоя невеста сидит у тебя дома! — улыбаясь, отвечала Таня.

— Да ладно уж, не думаешь ли ты, что я сижу на яблоне, а собираю арбузы?

— Не обо всем, что знаешь, нужно болтать! — говорила Таня строго.

— Ну что случилось, доченька, я ведь радуюсь вместе с вами, потому и чирикаю!

— Слушай, Пожалуста, а с тебя магарыч! — приставляли друзья к Тристану.

— Совести у тебя нет, заполучил такую девушку, неужто мы не должны выпить за ваше здоровье?!

— Подождите, будет скоро и магарыч, и свадьба!

— Мало ли что может произойти до этого.

— Лучше синица в руке, чем журавль в небе, — не отставали друзья. — Нас ведь ваше счастье радует, думаешь, нам выпить хочется?

СВИДЕТЕЛЬ

Кажется, не было на автобазе человека, который не разделял бы радость Тани и Тристана.

А Дмитрий Соломонович?

Разве поймешь его? Кто знает, что кроется в его душе, преисполненной страсти к стяжательству.

Он заметил Таню, едва она появилась на автобазе. Необычно сладостное чувство испытывает он, глядя на нее. Понимает, конечно, что не по зубам ягодка. Но сознание затуманивает призрачная мысль, что он, Дмитрий, мужчина, который не может не понравиться женщине. Быть может, кое-кто думает, что он постарел? Как бы не так. Ну и что с того, что волосы порядком поредели и поседели. Зато сердце по-прежнему молодо. И разве мешает ему хромота? Можно подумать, что ему приходится ходить пешком! Нет, он разъезжает на самой роскошной «Волге» в городе! Никто из окружающих не является счастливым обладателем той «волшебной палочки», которая и вправду творит чудеса на этой грешной земле...

Кого еще принимают в обществе так, как всеми

уважаемого Дмитрия Соломоновича? Позавидовать ему можно — и только.

Входит к вышестоящему, тот встречает широкой улыбкой, протягивает обе руки для приветствия, обращается с ним, как с ближайшим, любимым родственником. И нет такой просьбы, которую бы ему не исполнили. Почему?! Это остается тайной.

О друзьях и говорить не приходится, они готовы на руках его носить. А друзей у него, кажется, даже больше, чем нужно. Стоит ему появиться в ресторане, как все, от директора до официанта, расплываются в подобострастной улыбке — знают, он оценит их улыбку. Ни одно застолье в городе не обходится без него. И бог с ним, что ни петь, ни танцевать он не мастак. Разве это важно? Достаточно того, что он — Дмитрий Соломонович! Есть у него какой-то магнит, «нечто», что придает ему достоинство, мужество, молодость, красоту, смелость, гордость, силу, способность сделать все, даже изменить сознание людей и убедить их в том, что нет в этом брэнном мире более достойного человека, чем он. Вот он и живет на земле, не лишая себя благ и удовольствий.

Но самая сильная его страсть — это застолье и женщины. Он и не скрывает этого. Во хмелю у него развязывается язык и он хвастает, что потерял счет женщинам, любившим его, что по крайней мере пятьдесят из них звали Хатуной. Увидев красивую женщину, он тотчас начинает прикидывать, какие у него шансы на успех. Теперь-то вы не удивитесь, узнав, что он избрал себе очередную жертву — Таню.

«Ну и красива же эта чертовка! — размышляет он про себя. — Какая прелесть, просто ангел во плоти! Уверен, еще ни один мужчина не прикасался к ней! Как она ослепительна. Правда, она скромна и строга, я уверен в этом, но меня, конечно же, не отвергнет: она так многозначительно улыбается мне, что стоит мне захотеть, и она станет ласковой, как кошечка, ну а потом... Уж я-то знаю, как завоевать женщину...» — убеждает себя Дмитрий Соломонович и старается лестью и лаской проложить дорогу к сердцу девушки.

— Доброго здоровья, Танечка! — спешит он поздороваться с ней и протягивает руку.

— Здравствуйте, батона Дмитрий! — отвечает Таня и охотно протягивает руку в ответ.

Директор не скоро выпускает ее нежную руку.

— Как поживаешь, голубушка?! — произносит он и ласково, по-отечески треплет девушку по щеке.

— Очень хорошо! — краснеет Таня.

— Ну что, собираешься улететь, голубушка?

— Вовсе не собираюсь!

— Ты что, решила пойти в монашки?! — он уже гладит ее по обнаженной руке.

И делает это так, чтобы и Таня и окружающие подумали, будто это всего лишь выражение доброго, отеческого отношения к ней.

— Лучше в монастырь пойти, чем попасть в руки телерешных парней! — Таня пытается отойти.

— Только не это! Только не это! Если ты не выйдешь замуж, ты совершишь самое тяжкое преступление на свете! — он проводит рукой по светлым Таниным волосам.

Таня предпочитает прикинуться дурочкой, сделать вид, что все это она принимает за отеческую ласку. Но осмелевший Дмитрий позволяет себе больше. И Таня начинает сердиться. Если сладкоречивый начальник перейдет границы пристойности, то она перестанет здороваться с ним и вообще уйдет с работы. Неужели она не найдет другой? Смешно...

Дмитрий это прекрасно понимает и поэтому дорожит ею. Он знает, что вряд ли найдет такого же добросовестного сотрудника. Это не так просто. Многие до нее не могли справиться с капризами шоферов.

Но более всего он дорожит ею потому, что верит— рано или поздно она станет его «усладой». Эта навязчивая идея засела в его необузданной душе и не дает ему покоя. Он день ото дня становится все более и более ласковым и внимательным, говорит о ней уважительно, не позволяет себе быть при ней грубым.

И Таня успокаивается. Ей кажется, что Дмитрий Соломонович изменился, стал таким сдержанным, потому что знает о ее любви к Тристану. Так она думает и поэтому ведет себя с ним так же, как и с другими,— свободно и непринужденно.

* * *

Таня смело направилась к кабинету директора, когда тот вызвал ее к себе и велел прихватить с собой кой-какие документы.

Он попросил ее сесть поближе.

Девушка так и поступила.

— Как дела, Танечка? — спросил он ласково.

— Прекрасно, — весело ответила Таня.

— У тебя все готово?

— Конечно!

— Молодец, голубушка! — он внимательно оглядел ее, взял у нее бумаги, разложил перед собой, притворился, будто рассматривает их. Но все его внимание было приковано к Тане, он даже не видел, какие бумаги листал. Приятная истома разливалась по его телу. «Ты даже не представляешь, девочка, как ты красива! Как я завидую тому, кого будут обнимать эти руки!.. Ох, ох, ох, как светится ее лицо... Гляди, Дмитрий, гляди, насладись сполна!» — говорил он самому себе. Дмитрий глубоко вздохнул и, чтобы не проявить своего возбуждения, будто бы между прочим, тихо пропел «Таня-Танечка, Танечка, голубушка...» и попросил регистрационную книгу. Таня подала ее.

— Танечка, ты довольна своей работой?

— Работа как работа...

— Ты достойна лучшей!

— Для лучшей работы найдутся лучшие работники.

— Я могу перевести тебя на другое место, Танечка! — смотрит на нее испытующе. — Хочешь работать кассиром?

— Кассиром?!

— Ну да, что тебя удивляет?

— Да... Выдвижение, ничего не скажешь!

— А ты подумай... Ты должна знать, что в ящике кассирши остается много из того, что придает смысл нашей жизни, делает ее более привлекательной... А ну представь себе, сколько фамилий красуется в ведомости для зарплаты? Почти до пятисот. Кто из водителей берет мелочь?! А некоторые даже рубли не считают. Это при выдаче. Прибавь к этому деньги, которые шоферы сами вносят в кассу! Ты не знаешь, Танечка, какой горшочек с медом стоит перед кассиршей!

Трудно было понять, чему улыбается Таня.

— Ну, что скажешь?

— А что будет с той кассиршей, которая работает?

— С той мы распрощаемся.

— Как просто... И не жалко ее?!

— Хм, жалко... ты говоришь, как наивный ребенок.

— Не поняла.

— Если хочешь быть счастливым, забудь слово «жалко».

Таня усмехнулась.

Дмитрий понял, что его «мудрость» не пришлась Тане по душе и попытался переиначить сказанное.

— Нет, Танечка, ты не так меня поняла. Я — человек добрый. Я все устрою так, что и она будет довольна. Переведу на лучшее место.

Таня задумчиво покачала головой.

— Может, хочешь перейти в бухгалтерию?

— Но я ведь не бухгалтер, батона Дмитрий?

— Прибавлять и отнимать умеешь? А остальное выучишь. А впрочем, какое это имеет значение, умеешь или нет...

Дмитрий Соломонович понимал, что Таня незаменима на своей должности, она честна, благородна, шоферы считаются с ней. Но ведь надо было дать ей понять, что ради нее он готов на все!

И Таня поняла и поэтому от всего отказывалась.

— Эх! — вздохнул Дмитрий, — я желаю тебе добра, а ты...

— Большое спасибо, вы очень хороший человек! — с иронией, отчеканивая каждое слово, произнесла Таня.

Но Дмитрий Соломонович не пал духом. «Чем язык острее у девки, тем добрее сердце», — подумал он, а вслух сказал:

— Молодец, Танечка! Экзамен ты сдала на отлично. Мне нравится, что ты честна и принципиальна, что так добросовестно относишься к работе. Именно такие работники мне и нужны. Дай бог, чтобы таких людей, как ты, было больше на свете. Я считаю, что наш коллектив — это моя большая семья. Важно не только добросовестно исполнять свои обязанности, главное — это человечность, душевность, сердечность, порядочность... и большое тебе спасибо, Таня, что ты именно такая.

Вот так, по-отечески, тоном благородного человека беседовал он с девушкой.

Таня про себя тщательно взвешивала каждое его слово, думая, что бы все это значило.

— Теперь, пожалуй, пора и к делу приступить. Давай, доченька, быстренько подсчитай, сколько машин выехало сегодня. И ориентировочно — тонно-километраж!

Таню удивило это странное поручение, и поэтому она осторожно заметила:

— Количество машин я подсчитаю сейчас же, но подсчитать тонно-километраж сложно, через день-два я смогу дать точные цифры.

— Мне они нужны сегодня, вечером я должен быть на совещании.

— Боюсь, данные будут неточные.

— Ничего, пусть будет приблизительно, — сказал он приказным тоном и приготовился записывать.

Ничего не поделаешь, приказ начальника не подлежит обсуждению, к тому же Таня — человек обязательный и потому она тотчас приступила к делу. Постепенно она так втянулась в работу, что даже забыла, что рядом сидит ее начальник.

Склонившись над столом, Дмитрий жадным взором следил за Таней, она казалась ему еще прекраснее, еще пленительнее, ему нравилось в ней все — золотистые волосы, светлый лоб, четкая линия бровей, длинные ресницы, слегка курносый носик, щеки, на которых при улыбке появлялись ямочки, пухлые губы, гибкая шея.

Он перевел взгляд на вырез платья и кровь взыграла в нем, словно молодое вино, растекалась по всему телу, помутила сознание. Его изношенное женскими ласками сердце замерло в приятной истоме, как счетчик такси, зароботал мозг. «Неужто она не будет польщена моим вниманием? Что, если вот сейчас подойти... Что, закричит? Возможно... Хотя, не думаю... Может быть, притворится, что возмущена... Естественно, ведь еще ни один мужчина не прикоснулся к ней... К тому же она гордая... Надо же набить себе цену... Я знаю, как заставить ее замолчать, не впервой. Только припаду к ее губам — тотчас замолкнет, сама станет ласкать... Ох, как это будет прекрасно!.. Если один раз удастся покорить и усмирить ее, потом она сама будет

искать встречи со мной... Сама... Я покорял более непокорные сердца, приручал более самолюбивых недо- трог... Ну, чего же я жду?!» — И он, словно тигр, сор- вался с места. Но Таня ловко отскочила в сторону, схватила счеты и запустила ими в озверевшего Дмит- рия. Он в свой черед отпрянул и, изловчившись, поймал их на лету. Поймать-то он их поймал, но с трудом удер- жался на ногах. Бледный, дрожа, точно его окатили хо- лодной водой, он глядел на девушку и испуганно, расте- рянно улыбался. Таня стояла в конце длинного стола и дышала, как вырвавшийся из когтей орла заяц. Слезы градом катились по ее раскрасневшимся щекам. Переведе- дя дух, она, стиснув зубы и презрительно сощутив гла- за, прошептала:

— Разве ты мужчина?!

И повернулась, чтоб уйти, но...

В эту минуту открылась дверь, и Таня встретилась взглядом с Тристаном. Он не ожидал увидеть здесь Таню.

Тристан изменился в лице, сердце бешено заколо- тилось, затуманилось сознание.

— Что с тобой, Таня?!

— Ничего! — Таня отвернулась и незаметно утер- ла слезы. Она не могла говорить. Слезы душили ее.

— Негодяй! — заскрежетал зубами Тристан и ри- нулся на директора.

— Не подходи, не то!.. — зарычал Дмитрий боль- ше от страха.

В это время в коридоре появился Кнапе. Услышав шум, он вбежал в кабинет и остолбенел.

Разгневанный Тристан, стоя перед директором, занес руку, но Дмитрий схватил пепельницу и изо всей силы запустил ее в парня. Тристан упал на пол, и его густые волосы окрасились кровью.

— Ай! — закричала Таня, схватившись за голову, и склонилась над лежащим на полу Тристаном.

— Не бойся! — прошептал Тристан и попытался приподнять голову.

Кнапе подбежал и стал помогать Тане.

— Есть там кто-нибудь, помогите! — крикнул он.

И тут отовсюду повалили люди. Появилась медсе- стра. Собравшиеся с любопытством озирались по сторо- нам.

— Убирайтесь отсюда! — заорал стоящий у окна Дмитрий и схватил телефонную трубку. Догадавшись, что он звонит в милицию, и не желая ввязываться в неприятную историю, все быстро покинули кабинет.

Когда появились работники милиции, в комнате находились пятеро: Дмитрий Соломонович, Тристан, которого уложили на директорский диван, заплаканная Тая, хмурый Кнапе и медсестра Дудухана, которая суетилась около Тристана.

— Что произошло? — спросил один из милиционеров и приготовил блокнот для записи.

— Вот этот сумасшедший ворвался в кабинет и набросился на меня. Не изловчись я, он бы убил меня и глазом не моргнул! — спокойно произнес Дмитрий Соломонович.

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ

Рано утром на автобазе царит необычное оживление, но постепенно солнце восходит к зениту — и затихает шум, разъезжаются все машины, увозя благодарных или ворчливых заказчиков. Редко какой грузовик, тарахтя, возвращается в гараж, пристраивается на стоянке, и вновь тишина окутывает изнуренную зноем автобазу. Только в самой конторе суетятся сотрудники, но тихие голоса, постукивание костяшек и скрип перьев не нарушают привычного покоя. Даже в ремонтной мастерской в это время дня тихо.

Ближе к вечеру, когда уставшее солнце стало склоняться к закату, в сквере напротив автобазы появился мужчина. Он не спеша брел по тропинке между газонами, мурлыча незатейливую мелодию. Вот он сел на выкрашенную в зеленый цвет скамейку, закинул ногу на ногу, надвинул на брови кепку с большим козырьком, перекинул руки через спинку скамейки и устался на фонтан, в серебристых брызгах которого купались изящные фигуры девочки и мальчика.

Подставив лицо майскому солнцу, он мечтал только о том, чтоб никто не помешал ему, не нарушил его покоя и душевного равновесия, ибо в эти минуты душа его находилась в полной гармонии с окружающей тишиной.

Да разве в этом городе дадут человеку посидеть спокойно?!

— Здорово, Кнапе! — услышал он.

Кнапе голос не понравился, он нехотя приподнялся, поправил кепку и, нехотя улыбаясь, выдавил:

— Привет, Проныра!

— Как поживаешь? — высокий, уже немолодой мужчина сильно пожал Кнапе руку.

— Ничего!

— Чего уединился!

— Отдыхаю сегодня, вот и решил немного посидеть в саду, пока придет секретарь парткома, членские взносы должен уплатить.

— И я вот решил прогуляться, развеяться немножко...

Кнапе не стал отвечать.

Беседа прервалась.

— Прекрасное место для кутежа, а, Кнапе? — Проныра испытующе посмотрел на Кнапе.

— Хороший человек не будет травить себя среди этой красоты!

— Напротив, вино лишь поднимет настроение, когда кругом такая красота!

Проныра не впервые предлагает Кнапе выпить. Он и раньше приглашал его на стаканчик-другой, после чего начиналась попойка. Как правило, расплачивался Кнапе. На этот раз Кнапе решил устоять. Не подумайте, что он скупится, не такой человек Кнапе! Просто ему надоела бессвязная болтовня Проныры.

— Эх, Кнапе, — продолжал тот, — давно мы с тобой не сидели вместе за чаркой, не говорили по душам. С тех пор, как ты стал тестем большого человека, ты уже не желаешь знаться с маленькими людьми... Слушай, Кнапе, давно хочу спросить тебя, ты в самом деле был там во время скандала?!

— Какого скандала?

— Между Тристаном и нашим начальником.

— Да, а что?

— И в самом деле это было так, как рассказывают?

— Более того, он чуть было не убил парня!

— Ох, ох, ох! — нахмурился Проныра. — Хоть ме-

ня там и не было, я уверен, что это девчонка намутила воду.

— Какая еще девчонка?

— Таня, наш диспетчер.

— ?!

— Ты ведь знаешь, что это за вертихвостка!

Кнапе усмехнулся.

— Очень легкомысленная девчонка, очень...

— А я думаю наоборот, Таня — порядочная девушка.

— Хм, уж притворяться она умеет. Такие женщины умеют набивать себе цену. Она прекрасно знает, как себя вести. Для тебя и для меня она порядочная, а ты послушай, что о ней рассказывают Ваню и Лопухий.

Кнапе вновь усмехнулся.

— Должен сказать тебе, — продолжал Проньра, — что серьезная девушка не станет работать на этом месте. Вокруг нее озверевшая шоферня крутится, а она хлопает ресницами, слушая непристойности. А как она многозначительно вздыхает, когда к ней подходит какой-нибудь мужик, готова съесть его глазами. Не раз Соломонович предлагал ей поменять работу. А она ни за что не хочет расставаться с этим местом, еще бы, такой телочке, как она, самое место среди наших парней.

Кнапе этот разговор показался странным.

— Когда девка работает на таком месте и кокетничает со всеми напрапалую, — я не верю в ее порядочность! Ну что ты скажешь о девушке, которая ночью сядет в кабину к пьяному водителю и попросит отвезти ее за город!

— К кому она села?!

— К Ваню. Он и сейчас, вспоминая, причмокивает от удовольствия. Не могу я говорить все...

— А что тебе еще осталось сказать?

— Ну что ты, я столько наслышан о ней!

— Напрасно треплешь языком...

— Напрасно, говоришь?.. А сколько раз, когда мы проезжали мимо верхнего орешника, Гио вспоминал Таню, ты спроси у меня, спроси! Да разве только он?! А Ветрогон Ваню все еще носит в кармане ее фотографию, где она снята на пляже в чем мать родила!..

— Перестань...

— Каково деревцо, таковы и яблочки! В молодости

и за ее матерью грешки водились. Весь город ее знал. Ничего себе семейка...

— Как только у тебя язык поворачивается...

— Что поделаешь, Кнапе, правду не утаишь. Эта девочка своего не упустит, вот она и заприметила Дмитрия Соломоновича, кривлялась, как могла, меняла наряды, малевала себя пудрой и помадой, я видывал немало женщин, охотящихся на мужчин, она же всех переплюнула, просто проходу ему не давала. Стоило ему остаться одному, как она устремлялась в кабинет, и так вертелась, и эдак. Вот и в тот день она зашла к нему, уселась перед ним, кривлялась. Девка молодая, кровь с молоком, тут и святой не удержался бы, а Дмитрий Соломонович мужчина что надо... Ну и к чему это привело, ты сам знаешь! — он испытующе посмотрел на Кнапе.

— Перестань, как у тебя язык не отсохнет от таких слов? Ведь у нее есть жених, а ты такое болтаешь!

— Да жених у нее есть для отвода глаз. Подцепила хорошего парня, прикинулась ангелом непорочным, ослепила красотой. Вот этот дурачок и влип, она даже при нем кокетничает со всеми, а он и в ус не дует. На такого и хомут не трудно надеть.

— Хватит, перестань! Сколько можно?

— Да ты сам смекни, с чего бы я заступался за Дмитрия Соломоновича, когда для меня он и пальцем не пошевелил, и не заслуживает ничего, кроме упреков. Семь лет работаю под его начальством, а он все держит меня простым механиком. И все равно я где угодно могу повторить, что наш Соломонович честный и благородный человек, он не болтает зря, слова его никогда не расходятся с делами. Бог наградил его даром руководителя, это не шуточное дело — сплотить коллектив, далеко не каждый сумеет пасти вместе козленка и волка. Ты хорошо знаешь, чтобы держать наших парней в узде, нужны железные руки. Быть начальником АТК труднее, чем секретарем райкома. Да, братец, дело у него отлажено, ящики его стола набиты разными наградами и грамотами. В этом году, как мне кажется, он переходящее знамя отхватит. Начальство его уважает, и в министерстве есть у него близкие, с высокими должностными лицами он держится, как с ближайшими родственниками. А какой это добрый человек, не

мне тебе говорить. Вспомни Гио, ведь мог оказаться далеко отсюда, а он и сейчас сидит за рулем! А Лопоух, помнишь, угнал машину в Россию и сделал там аварию... А благодаря тому же Дмитрию Соломоновичу сегодня разъезжает на новеньком «ГАЗ-150». Просто к слову пришлось, потому и вспомнил я все это, а впрочем, ты знаешь его не хуже меня!

— Знаю, знаю! — Кнапе усмехнулся.

Но тут, вспомнив историю Кнапе, Проныра поубавил пылу и продолжал уже не так рьяно:

— Раньше он был своенравным, ничего не скажешь, бывало, не сдерживался, вот и с тобой, помнишь, у него был конфликт, но, уверяю тебя, потом он даже жалел об этом. Сколько раз он мне говорил: неправ я, должен искупить свою вину, должен помочь Кнапе... Человеку на его месте трудно всем угодить, посади на его место мудреца Соломона — и тот не выдержит, споткнется... вмешиваются сверху, приказывают...

Кнапе презрительно улыбнулся.

— Слушай, Кнапе, а тебя уже вызывали туда?

— Куда? — Кнапе притворился, что не понимает.

— Ну туда, где надо давать показания?

— Конечно.

— И что же? — насторожился Проныра.

— Я рассказал все, как было, — спокойно сказал Кнапе.

— Начальника своего обвинил, или?..

— Не обвинил, а сказал правду. Он ведь расколол парню голову...

— Не знаю, говорят, Тристан собирался его убить.

— А кто говорит, ведь, кроме меня, там никого не было.

— Сам Соломонович говорит.

— Хм! Он, конечно, скажет... Ты прекрасно знаешь, что Тристан не способен убить человека.

Проныра недовольно покачал головой.

— У Соломоновича такие заслуги, все его уважают и ценят, а вот из-за какой-то неизвестно откуда взявшейся сопливой девчонки он может пострадать.

Кнапе нахмурился.

— Ты думаешь, он боится место потерять? Такой человек нигде не пропадет, может, ему предложат даже

лучшее место, нет худа без добра, но он печется о своем добром имени, о своей чести.

— Да, да, да, честью и совестью он обвешан, как сливовое дерево сливами... — язвительно отрезал Кнапе.

— Ты шутишь, а каково ему? Ты что, не замечаешь, как он осунулся? — Проныра сокрушенно покачал головой. — Да что скрывать, он здорово влип!

— А я тут при чем, не я же ему это подстроил? — пожал плечами Кнапе.

— Ты не подстроил, но ты можешь спасти его, одно твоё слово может убить, а может и воскресить Дмитрия Соломоновича.

— Я уже сказал все, что надо было. Не раз уже записывали...

— Если ты захочешь, Кнапе, твои показания не будут подшиты к делу. Старая напраслина будет уничтожена и все будет записано заново, недаром в сказке говорится: то ли было, то ли не было...

— Тебе все легко, как в сказке, но, как говорится, что написано пером, не вырубишь топором.

— Хм. Как бы не так. Кое-что, как мы с тобой знаем, все стирает... Между нами говоря, все уже устроено... Никто не хочет губить этого человека, все готовы помочь ему. Одно твоё слово... ты ведь знаешь, какой это человек, за добро воздаст добром...

— Честного человека посадить на скамью подсудимых?! Где это слыхано?! И тебе не совестно такое говорить?

— Хм! Честный человек!.. Кому нужна честность! Оглянись, что вокруг происходит! Прав тот, кто силен, и ты должен уважать того, кто может тебе пригодиться!..

— Эх, Проныра, ты смотришь на мир, сидя в своей норе. Выйди наверх, оглядись по сторонам! — проговорил Кнапе.

«Жалеешь? Жизнь покажет, кого из нас надо жалеть», — подумал Проныра.

«Чего он ко мне прицепился, тюрьма ведь грозит не ему, а его начальнику?!» — недоумевал Кнапе.

«Ну что мне делать с этим дураком! Аж язык у меня вспотел, столько я болтаю, а уломать его не смог. Уперся, как осел перед лужей. Такой куш теряю из-за него! Соломонович здесь не поспешил бы, ведь обеими ногами попал в капкан, выложит тысячи, лишь бы

выкрутиться. Эти денежки должны зашуршать в моих руках, ради этого и стараюсь, а то пропади он пропадом вместе со своим семейством. А в Кнапе я ошибся, думал, удастся уговорить его, и тогда все, что выложит Дмитрий, останется мне. Но вижу, слова мои бессильны, придется подкрепить их тем, чем обычно можно совратить любого на этой грешной земле!» — подумал Проныра и произнес вслух:

— Слушай, Кнапе, ты мне как брат, что мне скрывать от тебя. Соломонович специально послал меня к тебе.

— Он ведь сам приходил ко мне, даже три раза. Он знает мой ответ, чего же он тебя беспокоит?

— Он хоть и считает тебя другом, но о самом главном не осмелился сказать. Получишь большие деньги, если изменишь свои показания!.. — он так гордо и открыто посмотрел на Кнапе, словно собирался вручить ему высочайшую награду.

Кнапе покачивал головой, ничего не понимая.

— Послушай, Кнапе, он дает вот столько! — Проныра трижды показал растопыренную пятерню.

Кнапе так растерялся, словно ему в эту минуту всучивали ворованное, и не нашелся, что ответить.

— Что ты кривляешься, как невеста?!

Кнапе даже поперхнулся от негодования.

— Ну, решайся, и тебе будет хорошо и ему!

Кнапе и на этот раз смолчал.

— Может, тебе мало? — Проныра пристально посмотрел на Кнапе.

— Отстань ради бога... — произнес Кнапе нервно.

— Ты слышал об «эликсире жизни»?

— Нет.

— Это такая настойка, она продлевает человеку жизнь, сохраняет молодость, делает жизнь радостной и прекрасной.

— Что ты хочешь сказать этим?

— То, что эликсир жизни — это деньги. Так вот этот эликсир и предлагает тебе наш начальник. И заметь, немало, наверное, столько денег ты никогда не видел.

«Ишь, как повернул дело сукин сын... Наплевать, что ли, на все?.. Грех это... а впрочем, некоторые всю жизнь грешат... Говорят, один раз согресишь, на

всю жизнь искалечишь душу. Зато какая радость придет в дом... Вот приду домой и брошу на стол пачки денег... У Мариам загорятся глаза, она просто растает от счастья... дрожащими руками возьмет деньги... а потом... она-то уж знает, как распорядиться ими, какая женщина не знает, на что потратить деньги?!».

Кнапе так увлекся своими мыслями, что забыл о Проныре. А тот смотрел на Кнапе широко раскрытыми глазами, догадывался, что происходит в его душе, и, предвкушая победу, подумывал о том, как бы урвать для себя куш побольше. Не такой человек Проныра, чтоб упустить возможность облизнуть горшочек с медом. Жадная душа его думала о том, как бы провести Кнапе. Жаль, что он проговорился, не надо было называть сумму, но ничего... ему бы только взять эти деньги у Дмитрия, а обвести вокруг пальца Кнапе ему не составит труда. Он передаст Кнапе лишь небольшую часть и скажет, что Дмитрий подвел его, не дал больше. Поскольку дело будет закончено, Кнапе промолчит, не станет же он жаловаться?..

Довольный своей идеей, он с нетерпением ждал ответа Кнапе.

— Ну, Кнапе, чего ты столько думаешь!

Кнапе точно очнулся, стряхнул с себя черный туман, мысли его прояснились, и он тяжело покачал головой.

— Нет, братец, я мужчина, и у меня есть совесть...

— Не понимаю...

— А все очень просто... Я свою совесть за деньги не продаю!

Проныра съежился.

— Шутишь, Кнапе?!

— Я не люблю шуток в таких делах.

— Подумай хорошенько, Кнапе, не оплошай, как бы потом не пожалел!.. Не рассуждай, как ребенок. Поверь мне, если у человека есть деньги, то и совести у него предостаточно, и ума, и люди его уважают... Все равно, Кнапе, дело устроится, а ты потеряешь свой кусок!

— Что поделаешь... Я ведь кусок теряю, не совесть! — сказал Кнапе.

— Когда тебе станет совсем тяжело, ты заложи свою совесть!

— Моя совесть всегда будет со мной, — спокойно ответил Кнапе и встал. — Пошли, что ли, хватит, поговорили по душам.

ШАФЕР

На темном небе мерцали звезды. Уставший Кнапе вернулся домой, поужинал, прилег и уставился в телевизор.

Зазвонил звонок. Кнапе нехотя поднялся, вышел на балкон.

— Кто там?

— Это я, Тристан...

— А, это ты? Я сейчас! — и Кнапе спустился открывать калитку, тепло поздоровался с гостем и пригласил его в дом.

— Знаю, просто так не пришел бы ты ко мне. Верно? — улыбнулся он.

Тристан медлил.

— Ну что, помирился с Таней? — пришел ему на помощь Кнапе.

— Да... Но...

— Не могу поладить с мамой, не нравится ей Таня.

— Это почему же?

— Она все твердит, что «в жилах моей невестки должна течь грузинская кровь. Если она не сможет говорить со мной на моем языке, я не буду ей свекровью, будь она ангелом небесным».

— Но Таня прекрасно знает грузинский!

— Да разве ей втолкуешь? Она находит сотни причин. Не доверяет Тане, то и дело приводит в пример Марусю, ты знаешь ее, говорит, что за три года она успела четырежды побывать замужем.

— Это ничего, я видел много свекровей и свекров, которые, трясая руками, орали на ненавистную невестку, но потом так влюблялись, что души в ней не чаяли. Ты поступай так, как подсказывает тебе сердце, и увидишь, они ее полюбят больше, чем тебя, я ведь знаю Таню. А сам ты не засомневался случайно?! — Кнапе испытующе посмотрел на Тристана.

— Что ты говоришь? Я и дня не могу прожить без

нее! Свадьба уже назначена, — лицо Тристана посветлело.

— Свадьба?! Что может быть лучше свадьбы! Вы прекрасная пара, кто не будет рад вашему счастью?! — Кнапе, расцеловав, поздравил его. — Значит кутим, да?!

— Это само собой, но я хочу попросить тебя...

— Говори же!

— Ты мне очень дорог, батано Григол, и мне хочется породниться с тобой!

У Кнапе засияли глаза.

— Я хочу, чтобы ты был шафером. Ты не откажешь?

— Шафером?! — Кнапе удивился. — Не знаю, смогу ли...

— Другого свидетеля мы с Таней и не хотим!

— Что ж, тогда по рукам! Такую сыграем свадьбу, что звезды на небе будут плясать! Слушай, Тристан, надеюсь, ты и директора пригласил, а?

— А как же!

Наш искушенный читатель, вероятно догадался, что речь шла о новом директоре. Он был назначен вместо Дмитрия Соломоновича несколько месяцев назад.

Через пару недель Таня и Тристан поженились.

Кнапе сдержал свое обещание. В городе давно уже не помнили такой веселой, такой зажигательной свадьбы. И когда в очередной раз музыканты наяривали плясовую, казалось, что и в самом деле на небе плясали звезды.

Перевод Д. БОРИСОВОЙ



Анзор ЧОМАХИДЗЕ

ПАТРИАРХ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

С ИМЕНЕМ Колау Надирадзе связаны многие достижения современной грузинской поэзии. Творческий путь поэта начинается в литературной группе «Голубые роги», одним из лидеров которой он стал. Роль и значение Колау Надирадзе в создании и развитии символистского направления в грузинской поэзии ясны и общеизвестны, но нельзя не удивляться тому, что грузинская литературная критика долгое время обходила молчанием его творчество, тем более, что оно несомненно заслуживает пристального внимания литературоведов.

Первая книга Колау Надирадзе «Балдахин» вышла в 1920 году.

За шестьдесят лет Колау Надирадзе опубликовал множество книг, в которых отчетливо прослеживается сложный и противоречивый творческий путь поэта.

Он родился 26 февраля 1895 года в Кутаиси. Девяти лет поступил в Кутаисскую классическую гимназию. Время, проведенное в гимназии, ознаменовалось началом прочной дружбы Колау Надирадзе с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе, сыгравшей важную роль в их творческой деятельности. Здесь же, в первом классе гимназии, Колау Надирадзе познакомился и подружился с Владимиром Маяковским.

Революционные выступления и демонстрация в Кутаиси в начале XX века неудержимо влекли к себе гимназическую

молодежь. Колау Надирадзе за деятельное участие в революционном движении был исключен из седьмого класса гимназии. Лишь через полтора года ему удалось сдать экзамены экстерном и получить гимназический аттестат. Поэт продолжил учебу на юридическом факультете Московского университета, но закончить ее помешала болезнь отца, вынудившая юношу вернуться на родину.

Московский период был исключительно плодотворным для молодого поэта. Он часто ездил в Петербург слушать лекции профессора Петражицкого, посещал литературные вечера, в которых участвовали К. Бальмонт, В. Брюсов, А. Белый, А. Блок, А. Ахматова, И. Бунин и другие замечательные русские писатели, не пропускал оперных спектаклей с Ф. Шаляпиным, А. Неждановой и Л. Собиновым, слушал игру С. Рахманинова, смотрел во МХАТе пьесы А. Чехова, Г. Ибсена, М. Метерлинка.

К этому времени Колау Надирадзе окончательно посвящает себя поэзии, пристрастие к которой появилось у него еще в гимназии. Любимыми поэтами юноши становятся Шота Руставели, А. Церетели, И. Чавчавадзе, Н. Бараташвили, Г. Орбелиани, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев. Проходят годы — и Колау Надирадзе знакомится с произведениями Ш. Бодлера, П. Верлена, С. Малларме, А. Рембо, О. Уайльда. Их творчество оказало решающее влияние на его поэтическое мировоззрение: Колау уничтожает свои юношеские стихи и начинает писать по-новому.

Детская дружба с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе с течением времени переросла в творческий союз. После установления Советской власти в Грузии друзья вместе переезжают в Тбилиси.

По существу первой вехой творческого пути Колау Надирадзе следует считать обращение к символизму, сыгравшему определенную роль в истории художественной литературы.

Грузинский символизм, оформившийся в самостоятельное литературное направление в 1916 г. в Кутаиси, как это признано в литературоведении, — сравнительно поздний отголосок европейского и русского символизма. В 1916 году начинает выходить журнал «Голубые роги», в первом номере которого была напечатана программная декларация символистов. Эта программа по существу призывала к крайнему субъективизму: подражая французским и русским символистам, ее авторы выступали против реалистического направления в литературе, проповедовали отрыв литературы от действительности. Реакци-

онный девиз «искусство для искусства» стал главным лозунгом символистов, признававших за литературой и искусством только эстетическую функцию.

Подобные взгляды находились в резком противоречии с грузинскими литературными традициями, в частности — с воззрениями классиков грузинской литературы Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели и др. Голубороговцы объявили войну реалистической школе в грузинской литературе. Особенно ополчились они против революционной литературы, продолжавшей реалистические традиции классиков и неразрывно связанной с революционно-освободительным движением.

Справедливую, на наш взгляд, оценку грузинского символизма дает Т. Чхенкели, подчеркивая, что для грузинской поэзии десятых-двадцатых годов нашего столетия были характерны отрицание традиционного поэтического мышления, поиски новых форм, стремление приобщиться к достижениям европейской и русской поэзии. Это была пора существенного обновления грузинской поэзии, естественно, не застрахованного от перегибов.

Первые шаги грузинских символистов в поэзии совпали с новым революционным подъемом. Молодые поэты, однако, не последовали за революционно настроенными массами: весь свой юношеский пыл и мятежную душу они отдали литературе и искусству.

Проповедь ухода от действительности, с которой выступили символисты, по существу вела к позициям антиреалистической литературы, подчиняла влиянию различных модернистско-декадентских литературных школ, философско-идейная направленность и художественные формы которых были принципиально чуждыми грузинской художественной литературе. Эта тенденция еще более усугублялась их отрицательным отношением к слабой, низкопробной литературной продукции, которой заполняли тогда страницы журналов и газет бездарные подражатели и эпигоны классической литературы.

Вспоминая впоследствии о заблуждениях грузинских символистов, Тициан Табидзе писал: «Если оценивать пройденный путь, то следует сказать, что наша группа «Голубые роги» представляла собой типичное эстетически ограниченное направление. В те годы мы, молодые грузинские поэты, платили слишком большую дань нездоровому артистизму богемы, проповедовали «искусство для искусства», художественное творчество оценивали строго — как некую самоцель. Слишком много было у нас противоречий».

Т. Табидзе, однако, достаточно аргументированно рассуждает и о положительных сторонах грузинского символизма: «Несмотря на то, что мы были оторваны от реальной действительности и оказались беспомощными, совершенно неспособными правильно понять социально-политическую обстановку, все же на фоне обедневшего грузинского стиха того времени новая школа поэтов сыграла большую роль. Мы привнесли в грузинскую поэзию новые слова — либо изгнанные из нее, либо же совсем не употреблявшиеся. Впервые появились настоящие сонеты, терцины, триолеты. Рифма обрела новые возможности. Мы по-новому использовали аллитерации и ассонансы. Переводя Бодлера, Верлена, Рембо, Лафарга и других французских и русских поэтов, мы расширили диапазон поэтических тем и образов. Грузинский стих приобрел новое звучание».

Такого же мнения придерживался и Георгий Леонидзе, присоединившийся к голубороговцам позднее (в 1918 г.).

Организационная сплоченность литературной группы символистов проявлялась и в их творческой деятельности. В этом отношении группа была образцовой. Ее члены поддерживали друг друга как в печати, так и публичных выступлениях и дискуссиях. «Голубые роги» не знали группировок и распрей, столь часто наблюдавшихся среди русских символистов.

Деятельность голубороговцев вызвала оживленный интерес как в широких читательских кругах, так и в среде литературной критики. Определенная часть критиков остро реагировала на их произведения, объявляя последние образцами футуризма чистейшей воды, а всю деятельность этой группы — негативным явлением в грузинской литературе. Значительная часть критиков, однако, отнеслась к стихотворениям молодых поэтов несколько более благожелательно. Позитивную оценку новой литературной школе дал выдающийся грузинский писатель Давид Квдиашвили, подчеркнувший, что публичные выступления и лекции грузинских символистов (кутаисского периода) всколыхнули атмосферу духовной скуки, сковывающей общественные взаимоотношения. По его мнению, новое литературное поколение отчетливо показало грузинскому обществу, скатившемуся на путь духовного вырождения, прелесть и силу, образность и стройность грузинского языка.

Справедливости ради надо отметить, что в поэтическом творчестве некоторых голубороговцев с самого начала более или менее отчетливо стали проявляться реалистические художественные тенденции. В этом отношении особо выделялся именно Колау Надирадзе. Во многих его стихотворениях, на-

писанных в пору увлечения символизмом («Осень в имеретинской деревне», «Аспиндзская битва», «Дума о Крцаниси и Манане Орбелиани», «Поэзия» и др.), эти тенденции прослеживаются совершенно отчетливо.

Началом второго этапа творческого пути Колау Надирадзе следовало бы считать установление Советской власти в Грузии, которое ускорило уже ставший несомненным распад литературной группы «Голубые роги». Окончательно став на позиции реалистической поэзии во второй половине двадцатых годов, голубороговцы обратились к новой тематике.

Изучение и научный анализ длительного и сложного творческого пути Колау Надирадзе дают возможность отчетливее представить его роль в развитии грузинской поэзии XX в. В действительности второй этап творческого пути поэта начинается еще до установления Советской власти.

Первое стихотворение Колау Надирадзе «Злонравный город», написанное вскоре после вступления в литературную группу символистов, было опубликовано во втором номере журнала «Голубые роги» в 1917 году. Стихотворение изобилует такими выражениями, как «развратный и зловонный город», «грязные улицы», «похожие на скелеты дома», «безобразные рожи», «блудом пьяна», «переулки съест сифилис», «продажные женщины», «кривляется похоть» и т. д. Несмотря на обилие подобных выражений и мистический антураж, характерные для большинства ранних произведений грузинских символистов, в финале стихотворения чувствуется, что мечты поэта были светлы и чисты. Такие моменты «просветления» не так уж редки в произведениях Колау Надирадзе указанного периода, и это обязательно следует учитывать при анализе художественных особенностей стихотворений молодого поэта.

В чисто символистской манере написано и стихотворение «Листья на ветру». Подобно листе, сорванной с деревьев ледяным ветром, смерть без усталости кружит над лесами и полями; забытые всеми мертвецы дрожат от зимней стужи в могилах. Избавить человека от этого кошмара может только молитва.

Среди символистских стихотворений следует, на наш взгляд, особо выделить «Вы, мои братья, друзья дальних стран». «Усталый город охвачен дремой, умолк граммофон, целый день терзавший слух поэта; под окном какой-то русский крутит шарманку и поет унылую песню: бездомный бродяга, он умрет на чужбине в одиночестве... Все, все в этом мире полно печали и скорби!» И обращаясь к своим неведомым друзьям, поэт го-

рестно восклицает: «о, если б действительно рай ожидал нас после кончины! А утром, в саду, взглянет на поэта чистыми глазами играющий ребенок, подобный златокудрому ангелу. Разве много на свете людей, на лицах которых отражены их грязные помыслы? Поистине лучше жить, ни о чем не печалюсь... И все-таки, заключает поэт, — волнует и мучит меня дума о нем, — незнакомом, несчастном брате, — так же мучит она и вас, братья мои, друзья дальних стран!»

В стихотворении «Покину улицы» (1916 г.) поэт, охваченный тоской, подавленный тягостными впечатлениями, мечтает покинуть город, его зловонные улицы; чтобы хоть на некоторое время отвлечься и забыться, он входит в кафе, надеясь найти здесь уютный уголок. Бегущему от страшной действительности поэту являются в зеркалах три прекрасные девы с печальными, грустными лицами. Они с улыбкой смотрят на луну, в ее лучах красота дев становится все более осязаемой, земной. Но и это прекрасное видение исчезает, и действительность вновь предстает поэту в своем ужасающем безобразии.

В 1917 г. написаны и стихотворения символистского характера «Похитители луны», «Сон города», «Версаль под дождем», «Мистерия города», «Инфанта с борзой», отличающиеся яркой экспрессией. В них отчетливо проявляется субъективистское отношение к действительности. Мир в глазах поэта-символиста — всего лишь место людских страданий, где хаотически чередуются символы и знамена, бесформенные и туманные образы... Поэт порой выражает недовольство хаотичностью мира, нездоровыми общественными отношениями, что, несомненно, следует считать своеобразным отходом от символистских и декадентских тенденций. Его тяжелое душевное состояние обусловлено реальной действительностью. Он готов уйти от туманных и беспорядочных дней настоящего, но вместо светлого будущего мечтает о прошлом. Подобный путь, естественно, ведет его вновь к символизму.

Пессимистическое отношение к окружающей действительности, подозрительность, чувство одиночества, недовольство неустроенностью мира и полное отрицание борьбы за его переустройство — вот основные мотивы стихотворений последующих лет (1919—1920 гг.). Назовем хотя бы такие из них, как «Беседа», «Последнее путешествие с двойником», «Тарантул», «Автопортрет», «Поэтому молчу», «Бродячий музыкант», «Примирение», «Беспризорный ребенок», «Неизбежное свидание» и др. В этих стихотворениях стиль и манера Колау Надирадзе ничем не отличаются от стиля других его собратьев по перу.



Для всех них почти в равной степени характерны декадентские настроения, богемный артистизм, мистические кошмары и фантастические видения.

Мотивы ухода от жизни, апология уродства, чувства отчаяния и безнадежности характерны для всего первого периода творчества Колау Надирадзе. Следует отметить, однако, что в произведениях этого периода время от времени проявляются здоровые, реалистические тенденции, возникают ясные, светлые образы, встречаются прозрачные поэтические строки. В этом отношении хотелось бы особо выделить стихотворение «К родине» (1918 г.), в котором поэт приближается к реалистическим художественным принципам, вступая в противоречие со своими же взглядами на творчество. В этом патриотическом стихотворении чувство нежной любви к Родине достигает высочайшего накала. «К родине» можно считать новой вехой на творческом пути поэта. Стихотворение это создано в период меньшевистского правления в Грузии, когда правительство, под видом сохранения так называемой «демократии», широко открыло доступ в страну всякого рода авантюристам и подчинило интересы грузинского народа своим корыстным интересам. Поэт, возмущенный этими порядками, готов отдать жизнь за родину, смертью своей преградить дорогу изменникам и предателям.

В стихотворениях Колау Надирадзе на патриотическую тему все отчетливее проявляются реалистические тенденции. В реалистической же манере написано одно из лучших стихотворений первого периода «Осень в имеретинской деревне». Чувства и переживания автора опираются на здоровое гражданское начало, рельефно передан и колорит имеретинской деревни. Реалистические тенденции постепенно закрепляются в творчестве поэта, помогают ему избавиться от символистского образа мыслей, преодолеть декадентские настроения, приближают к позициям социалистического реализма.

В большинстве стихотворений периода 1922—1928 гг. («Приглашение на охоту в Имерети», «Имерети», «Моим детям», «Павле Ингорква», «Окрокана», «Утренняя песня», «Весна в Тбилиси», «Платаны» и др.) поэт явно отмежевывается от символизма — манерой письма и художественным мышлением приближается к принципам социалистического реализма. Данный факт в определенной мере свидетельствует об усилении реалистических тенденций в грузинской поэзии, что привело к окончательной победе нового метода — социалистического реализма. Правда, Колау Надирадзе продолжает обра-

щаться к поэтическим приемам, характерным для символизма. Его «Дифирамбы», «Мост Тамары», «Помнишь, дорогая?», «Снег идет», «Две хохлатки» и др. — свидетельствуют о том, что он все еще хранит верность художественному кредо голубороговцев, следует созданной вместе с ними литературной традиции. Это, конечно, совершенно понятно и естественно: не так легко было преодолеть эстетические взгляды и стиль, которыми поэт в свое время намеревался обновить грузинский классический стих. Именно по этой причине Колау Надирадзе определенное время не удавалось освободиться от влияния символизма.

Стихотворение «Дифирамбы» (1922 г.) в тематическом отношении носит отчетливо выраженный символический характер и передает ощущения безнадежности и тоски, вызывающие у поэта мистические видения. Подобные настроения еще более усиливаются в стихотворении «Corr spondence» (1924 г.). Глубокая меланхолия, пессимистические философские воззрения определяются, в конечном счете, тем, что жизнь рассеяла прежние иллюзии поэта, вызвав у него глубокое разочарование. Он перестает верить в реальность бытия и, охваченный печалью, живет только прошлым, хотя и это прошлое было далеко не радостным. Следует отметить, что в стихотворениях этого периода отразилась и тяжелая личная трагедия поэта (смерть жены), но для ее выражения поэт обращается к привычным художественным средствам, которые были характерны для первого периода творчества. Горе поэта выходит за узкие личные рамки, он сумел обобщить его, что по плечу лишь подлинному мастерству.

И все-таки арсенал художественных средств символизма, использованный в названных выше стихотворениях, уже перестал удовлетворять Колау Надирадзе. К этому времени поэт заметно приблизился к реалистической манере письма и соответствующие этой манере тенденции отражения действительности занимают прочное место в его творчестве. С этой точки зрения заслуживает особого внимания стихотворение «Приглашение на охоту в Имерети» (1922 г.).

Говоря о превалировании реалистических принципов в произведениях второго периода, нельзя обойти молчанием стихотворение «Весна в Тбилиси» (1926 г.). Художественное видение мира в этом стихотворении непосредственно связано с реалистическим направлением последующего, третьего периода творчества поэта, в основе которого лежал метод социалистического реализма, окончательно утвердившийся в грузинской

поэзии 30-х годов. Правда, и в эти годы нет-нет да проявляются рецидивы поэтики символизма («Триолеты» и др.), но все же для подавляющего большинства произведений поэта характерен реалистический метод, неуклонно сближающий творчество Колау Надирадзе с социалистической действительностью, которая заняла впоследствии ведущее место в стихотворениях поэта и определила его будущее.

И, наконец, к третьему периоду творчества Колау Надирадзе относятся стихотворения, написанные с 1932 года по настоящее время.

В начале тридцатых годов группа «Голубые роги» окончательно распалась, и ее ведущие писатели приобщились к новому творческому методу; многие из них в дальнейшем обогатили грузинскую литературу в тематическом отношении.

Колау Надирадзе также обращается к методу социалистического реализма, творчество его обогащается темами социалистической действительности. Начиная с этого времени его поэзия приобретает совершенно иной характер. В ней появляются новые настроения, новые изобразительные средства, эмоциональный настрой и интонации. Понимание закономерностей развития общества в значительной мере помогло поэту преодолеть свои старые взгляды. Именно этим, конечно, в первую очередь должен объясняться тот знаменательный факт, что Колау Надирадзе одним из первых среди голубороговцев принял новую действительность.

С этой точки зрения лирические стихотворения третьего периода — качественно новый этап в творчестве Колау Надирадзе. В них поэт последовательно развивает реалистические традиции, проявлявшиеся в его творчестве еще до 30-х годов и отдельные признаки которых наблюдались даже в произведениях самого раннего периода его литературной деятельности.

Исходным моментом поэтического вдохновения Колау Надирадзе, бесспорно, является его глубокая любовь к отчизне. Тема бескорыстного служения Грузии лежит и в основе стихотворения «Слово мое» (1964 г.), в котором поэт определяет сущность всего своего творчества. Колау Надирадзе безраздельно предан родине, своему народу; вся его долгая жизнь и поэтический талант отданы искреннему и бескорыстному служению родной стране. Его часто одолевают сомнения: сумел ли он как поэт в полной мере выявить свои творческие возможности, смог ли прожить жизнь без ошибок, чтобы с чистой совестью предстать перед лицом отчизны и народа? Эти сомне-

ния поэт с поразительной искренностью выразил в стихотворении «Одна эта мысль» (1968 г.).

Тема родины стала ведущей темой лирических стихотворений Колау Надирадзе с юношеской поры, когда молодой поэт постиг тайны поэзии, и по сегодняшний день, когда он приближается к своему столетию. Родина была и есть главный источник поэтического вдохновения Колау Надирадзе, и ей посвящены лучшие его стихотворения: «Родине моей», «Через сто лет», «Моя отчизна», «Наш грузинский май», «Квишхетские вечера» и многие другие.

В настоящей статье, неизбежно носящей обзорный характер, мы, естественно, не могли затронуть все вопросы, связанные с изучением творчества Колау Надирадзе. Читатель легко мог заметить, что нами оставлены без внимания поэмы К. Надирадзе, сыгравшие немалую роль в истории развития грузинской советской литературы. Мы ничего не сказали и о несомненно оригинальных, хотя и малочисленных прозаических произведениях писателя, которые почему-то также прошли мимо внимания критиков и литературоведов. Все это еще ждет своих исследователей. Наша же задача состояла в определении важнейших поворотных моментов творческого пути Колау Надирадзе. Мы видим, что несмотря на серьезное и глубокое увлечение символизмом в молодости, поэтическая натура К. Надирадзе властно заявляла о своем неуклонном стремлении к реализму. Этот внутренний императив и привел поэта, в конечном счете, к социалистическому реализму.



ХРОНИКА

КАПЕЛЛА ИЗ АРМЕНИИ — В ТБИЛИСИ

11 и 12 июня на сцене Тбилисского академического театра оперы и балета имени З. Палиашвили капелла представила в концертном исполнении оперу Верди «Набукко» с народным артистом ГССР Э. Гецадзе в заглавной роли. Знаменитая опера великого ком-

позитора прозвучала в Тбилиси впервые.

14 июня вместе с армянскими певцами выступил заслуженный симфонический оркестр Грузии под управлением народного артиста СССР Джансуга Кахидзе. В концерте прозвучала Девятая симфония Бетховена.

Капелла выступит также в Кутаиси и Цхалтубо, а затем в Пицунде и Сухуми.



ВНУШАЯ НАМ СВЕТЛЫЕ ЧУВСТВА

ТВОРЧЕСТВО Михаила Лохвицкого — наглядный пример взаимодействия и взаимообогащения национальных литератур нашей страны, одно из живых звеньев в цепи советской многонациональной культуры.

Чингиз Айтматов как-то подчеркнул на страницах «Литературной газеты», что наиболее важным на современном этапе ему представляется «взаимодействие культур, литератур, языков». Четко сформулировав насущнейшие проблемы художественной литературы и критики, перспективы их дальнейшего развития, он предостерегал от упрощенного решения вопросов в сфере национальных культур. И главное здесь, по мнению писателя, — «насколько глубоко и демократично развивается национальная культура, национальное самосознание в системе нашей интернациональной структуры». При этом самостоятельность национальных культур «немыслима без определенного общего знаменателя для всей нашей духовной культуры, без активного использования достижений более высокоразвитых культур»¹. Именно в этом видит писатель пафос всей советской литературы, ее неиссякаемую созидательную потенцию. Такая мера, предъявляемая к современной литературе, процессам, ее формирующим, имеет, конечно же, свое прямое отношение и к творчеству Михаила Лохвицкого.

Начало литературной деятельности писателя связано с Грузией: как журналист он изъездил многие уголки республики, выступая на страницах периодической печати, а в 1955 году в издательстве «Заря Востока» вышел первый сборник его рассказов «Встречи в пути». Первые шаги писателя, первые успехи имеют большое значение для постижения особенностей

¹ Чингиз Айтматов. Цена — жизнь. «Литературная газета», 13 авг. 1986.

его творчества. «Если вы сумеете понять поэта в этот критический момент его жизни, развязать узел, от которого протянутся нити к его будущему, тогда вы можете сказать, что знаете этого поэта, что постигли самую суть его»¹.

Уже в первом сборнике рассказов «Встречи в пути» определился тот тематический круг, от которого «протянутся нити к... будущему». Тема Великой Отечественной войны, отражившаяся в таких рассказах М. Лохвицкого, как «Голубь», «Простой случай», «Белый свитер», «В пригородном поезде» и других, найдет развернутое воплощение в романе «Неизвестный», а тема мирного созидательного труда (рассказы «Победа», «Новый день», «Две матери») — в повести «Час сенокоса». Из этого тематического круга выпадают, пожалуй, историко-документальные повести «Выстрел в Метехи» и «С солнцем в крови», а также повесть «Громовой гул», которая занимает особое место в творческой биографии писателя.

Военная тема вовсе не случайна в творчестве писателя и во многом предопределена его собственной биографией — М. Лохвицкий участник Великой Отечественной войны, служил в десантных частях Военно-морского флота. Отсюда и фактическая, так сказать, материальная первооснова его произведений и, вместе с тем, психологическая, художественная достоверность. Видимо в силу этих обстоятельств роман «Неизвестный», повесть «Человек уходит в море», в которых, несомненно, нашли отражение впечатления личного, биографического характера, вызвали такой широкий отклик у читателей.

Неслучайно, видимо, и то, что сборнику «Встречи в пути» М. Лохвицкий предпослал в качестве эпиграфа грузинскую поговорку. С годами все настойчивее стремление писателя погрузиться в народный быт, его первозданность, оценить и посмотреть на явления как бы «изнутри». «Грузинская тема» становится едва ли не ведущей, определяющей характер и направленность большинства рассказов и повестей Лохвицкого. Созданные на национальном материале, они весьма актуальны по своему звучанию. Грузинский писатель К. Лордкипанидзе в предисловии к сборнику «Встречи в пути» писал: «Они привлекают к себе внимание читателя умением автора увидеть и подхватить то новое, что ежедневно рождается нашей действительностью».

Нетрудно заметить, что в творчестве Михаила Лохвицкого

¹ Сент-Бев. Литературные портреты. Критические статьи. М., 1970, с. 49.

на передний план выдвигается в целом идейно-тематический пласт, пронизанный чувством советского патриотизма и интернационализма, дружбы народов нашей многонациональной Родины.

Сама биография Михаила Лохвицкого, окружение, в котором протекала его творческая работа, несомненно, способствовали формированию чувства тонкого восприятия инонациональной культуры, в частности, грузинской, с которой он так тесно соприкоснулся и которую так глубоко постиг (он заявил о себе и как интересный переводчик современной грузинской прозы).

Типологические сходства, по верному наблюдению М. Лохвицкого, еще не повод для каких-либо аналогий, ссылок на первоисточник, подражание одного писателя другому. Такого рода оценки, как показано на примере заметок о романе Н. Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», когда критик ограничивается внешними, лежащими на поверхности фактами, делая на этом основании далеко идущие выводы, явление не такое уж, к сожалению, редкое в современной литературной критике. «Познакомившись как следует с грузинской литературой, — пишет Лохвицкий, — я узнал, что в свое время некоторые критики упрекали выдающегося грузинского писателя Демну Шенгелая за подражание Ромену Роллану. Один из героев Шенгелая — Бата Кекия написан якобы под влиянием образа бессмертного Кола Брюньона. Критики, видимо, так же слабо знали Грузию, как и я в первые послевоенные годы. Иначе они поняли бы, что есть черты, роднящие самые далекие народы, поняли бы, что сочный, чуть грубоватый юмор, умение шутить в самых даже тяжелых обстоятельствах, любовь к солнцу и хорошему вину, впитавшему в себя животворную солнечную силу, одинаково органичны как для грузина, так и для француза. Быть может, более органичны для первого. С тех пор критика поумнела. И уже никому не пришло в голову поискать корни неиссякаемой бодрости и энергии персонажей повести молодого грузинского прозаика Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» в литературных произведениях. Всякому было ясно, что породил их народ»¹.

Приведенное нами конкретное наблюдение писателя позволяет сделать более широкое обобщение: даже в тех случаях, когда мы имеем дело не только с типологическими, но и кон-

¹ Музей дружбы народов АН ГССР. Личный архив М. Лохвицкого, фонд хр.: 13988.

тактными формами связи, не следует пренебрегать национальной первоосновой, почвой, художественно-эстетической традицией, ибо в конечном счете именно национальный фонд вбирает, растворяет в себе произведение, явившееся предметом для подражания или же отталкивания. «Одно и то же явление, — указывал Ю. Тынянов, — может генетически восходить к известному иностранному образцу и в то же время быть развитием определенной традиции национальной литературы, чуждой и даже враждебной этому образцу»¹.

Разумеется, Лохвицкий не сразу осознал масштабность исторических процессов советской многонациональной литературы, соотношение общего и собственно национального, да и само писательское мастерство, зрелость явились плодом упорных размышлений и труда. География творческого общения, контактов Михаила Лохвицкого достаточно широка: С. Сергеев-Ценский, К. Паустовский, К. Симонов, Ю. Трифонов, И. Эренбург, А. Межиров, Д. Гулия, Б. Шинкуба, Ф. Искандер, С. Смирнов, В. Шкловский, И. Андроников, С. Трегуб, К. Лордкипанидзе, М. Мрвлишвили и др.

Вступление М. Лохвицкого в литературу ознаменовалось знакомством, а затем и многолетней дружбой с автором широко известной эпопеи «Преображение России» С. Н. Сергеевым-Ценским. Получив письмо от М. Лохвицкого, Сергей Николаевич записывает в дневник стихотворение, в котором отмечает сродство душ — стремление сеять добро, внушать «светлые чувства».

Сегодня я несколько выбит из круга,
Какой себе сам же создал;
Письмо получил я от дальнего друга,
Хотя его не видал.
Сближает нас что же? Любовь к искусству...
Художники оба мы;
К тому, что внушает нам светлые чувства.
Направлены наши умы...

Первое знакомство с рассказом С. Н. Сергеева-Ценского «Гриф и Граф», а затем и другими произведениями маститого писателя, конечно же, не было однозначным для М. Лохвицкого. «...Четырнадцатилетним мальчиком по пути в пионерский лагерь я купил в книжном киоске теплохода «Грузия» альма-

¹ Ю. Тынянов. Тютчев и Гейне. В кн.: Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 387—388.

нах «Крым». Забрался на шлюпочную палубу, расположился в тени. Сперва прочитал роман А. Грина «Бегущая по волнам». Роман привел меня в состояние тихой восторженности. Долго смотрел на море, грезил, видел девушку в золотых туфельках, бегущую по волнам... Читал я в ту пору много и га-лопом. Но рассказ С. Н. Сергеева-Ценского «Гриф и Граф» с разбега прочитать не сумел — увязал в каждом слове, захлебывался от насыщенности, густоты красок, образов. Прочитав, вернулся к началу. Не все мне было понятно. Но главное я почувствовал: мощь, силу, кряжистость русской прозы. И море вокруг меня перестало быть сказочной голубой равниной. Я вдруг увидел, что оно имеет грозную глубину. Рассказ не забывался больше. Я стал искать в библиотеках книги Сергеева-Ценского».

С. Н. Сергеев-Ценский был одним из первых читателей сборника «Встречи в пути». Отмечая эскизность отдельных рассказов, Сергей Николаевич дает советы начинающему писателю, говорит о необходимости «глубже проникать в психологию действующих лиц и гораздо крепче свинчивать следствия с причинами», следовать такому непреложному, чисто педагогическому принципу; как «не о многом, но много».

М. Лохвицкий поверяет С. Н. Сергееву-Ценскому свои сомнения, относящиеся к писательскому ремеслу, и неизменно получает ценные советы и указания. «Вы спрашиваете, у кого учиться писать. Вопрос для меня не совсем понятный. Чему же, собственно, учиться и как именно учиться? Писатель находит, по моему мнению, форму **сам**, в силу своих восприятий жизни... От себя к изображаемому, а не от изображаемого к себе — вот основной закон искусства. Этим, конечно, руководствовался и Ваш Лесков, когда писал «Левшу» или «Запечатленного ангела». Я бы добавил к этому закону еще другой: писать надо, не оглядываясь на классиков, ни, тем более, на критиков. Об этом хорошо сказал Пушкин: «Ты сам — свой высший суд».

В письме к М. Лохвицкому, датированном октябрём 1957 года, С. Н. Сергеев-Ценский высказывает интересные суждения о мастерстве писателя, литературе, в частности, о романе. Мысли выдающегося русского писателя интересны и значимы сегодня, когда нет-нет да и возникают в наш динамичный век споры о жизнеспособности романа. «...Вы пишете, что вынашиваете большую вещь. Большая вещь требует много строительного материала, который должен быть уложен в соответствии с заранее начертанным архитектурным планом, чтобы по-

лучилось здание гармоничное, а не хаотичное. Тургеневу, например, очень удалась архитектура «Отцов и детей» и не удалась архитектура «Дыма» и «Нови». А наша литература теперь уже начинает поворачиваться к старым образцам, к которым не так давно относились пренебрежительно... Новая деталь необходима, новое психологическое переживание — неизбежно, новые люди с новыми словами в языке — это стены постройки романа, а форма его должна быть общедоступна, а не то чтобы без деления на главы и главки, без точек и запятых. Что необходимее всего для романа — это **большая** мысль, положенная в его основу, мысль современная и философская».

С. Н. Сергеев-Ценский приветствовал все подлинно новаторское, но не терпел модернистской зауми, штукачества. «Новое не может полностью отрицать старое. Художник овладевает опытом предшественников, отбрасывает то, что не может быть использовано, борется с ним, избирая для этого (в силу своих восприятий жизни) новую форму, но все пригодное должно быть им использовано. Ничто не рождается на голом месте. Тот, кто отрицает **весь** предшествующий опыт, выплескивает вместе с водой ребенка, духовно опустошает себя».

В 1958 году в Москве выходит второй по счету сборник рассказов М. Лохвицкого «Люди горных кряжей», а спустя два года в Тбилиси — повесть «Человек выходит в море», где тема интернационализма, чуткости и взаимовыручки людей самых разных национальностей стала главной, определяющей. Критика, к сожалению, не уделила должного внимания этому произведению, а между тем, судя по многочисленным письмам военнослужащих, рабочих, особенно же молодежи, вступающей в самостоятельную жизнь, — которые получил автор, повесть нашла широкий отклик в сердцах читателей.

В коллективе спасательного судна «Риони» формируется прямой, мужественный, чуждый мимикрии характер героя повести Гиви Бичикашвили. На буксир он попал прямо со школьной скамьи и здесь постиг душевную красоту внешне суровых, даже грубоватых, но внутренне чутких, отзывчивых к чужим невздам людей. Повесть «Человек выходит в море» — своего рода морально-этический кодекс, преподанный ненавязчиво, посредством живых образов людей, которых при всей их несхожести роднит одно — чувство собственного достоинства.

Жизнь и быт современной грузинской деревни нашли отражение в повести М. Лохвицкого «Час сенокоса». Фабула повествования, различные ее перипетии ориентированы опять же

на нравственно-духовные проблемы. Анзор, юный герой повести, открывает в себе необычную способность — отталкиваться от земли и взлетать в небо. Как отнесутся к этому его односельчане?! Казалось бы, мир и без того увлекателен и прекрасен, нужно ли искушать сердца людей чем-то необычным, сверхординарным? «...Солнце светит? Светит. Пчелы жужжат? Жужжат. Грибами от палой листвы пахнет? Пахнет. Ну и живи, смотри, дыши. И еще землянику ешь. Вон сколько ее».

Невозможное оказывается возможным в силу неизбежности самого желания, страстной мечты, и тогда все видится ясно и незамутненно, душа ликует, торжествует. «...Ствол от земли довольно высоко. На какую же высоту должен уметь прыгать человек! Эх, если бы!.. Пригнуться, упереться в землю и взлететь! Такое безумное, безудержное желание охватывает Анзора, что в ушах звенит, а руки и ноги дрожат от напряжения. Возьмет он и взлетит — высоко, выше деревьев, выше скал. Спустившись на дорогу, Анзор пригибается и вдруг взлетает, обронив прут и кепку и ударясь головой и плечами об еловые ветки. Ветки раздвигаются, царапая лицо хвоей, и он взмывает все выше, на мгновение задерживается, видит сверху лес, тенистое ущелье, далеко внизу туманную ленту Куры, деревню на излучине и падает, хватаясь за ветки...»

Анзор открылся отцу и поведал о том, какой необычной способностью одарила его природа — он может высоко взлетать над землей, далеко видеть все кругом и даже, как выясняется, провидеть. Отягощенный житейским опытом отец настороженно относится к фантастической способности сына. Диалог между отцом и сыном составляет один из узловых моментов нравственного и философского отношения к жизни, людям, обществу.

«— Послушай. Дай слово, что никому не покажешь и рассказывать тоже не будешь, — спрашивает отец сына. Глаза у него печальные.

— Почему, папа? Объясни.

— Так лучше.

— Но я...

— Жизнь так устроена, Анзор, чем выше человек прыгает, тем сильнее разбивается. На что уж некоторые заносятся, но проходит время, и они так шмякаются, что и памяти о них не остается». Они говорят словно на разных языках и о разном. Возможно, этот последний пассаж несет на себе печать известного житейского дидактизма, но он снимается последующим ходом событий. Окончательно проясняются жизненные по-

зиции отца и сына—осторожность и предубежденность отца Анзора и восторженность, пока еще ничем не замутненная и не осложненная, самого Анзора. Подобно Пете Ростову, он прислушивается к упительной музыке собственной души и в минуту ликования готов, растроганный, воскликнуть: «Мир прекрасен!».

Судьба «малых» народов, в частности, Кавказа, их нравственно-психологический облик, пропущенный через призму инонационального восприятия, сделался темой произведений А. Бестужева-Марлинского, А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого и др. В наши дни тема эта широко прозвучала в романе абхазского писателя Б. Шинкуба «Последний из ушедших». Повесть М. Лохвицкого «Громовой гул», несомненно, одно из наиболее ярких произведений писателя. Она вышла вслед за романом абхазского писателя и здесь нетрудно проследить целый ряд типологических схождений, вызванных к жизни общностью исторической судьбы убыхов и черкесов.

Известно, что писателю больше всего удаются те произведения, которые он внутренне выносил, пережил. Сопричастность к судьбе черкесов, пусть отдаленная, размытая временем, сообщает психологическую достоверность событиям, происходящим в повести, посвященной памяти деда писателя З. П. Лохвицкому — Аджук-Гирею, — и, таким образом, вобравшей элемент биографический. Однако одного биологического импульса было бы недостаточно для ее создания. Тут процесс двуединый: лично пережитое, передуманное накладывается на исторический фон. Писателем изучено немало документов, таких, как, скажем, работа С. Н. Шульгина «Из дагестанских преданий о Шамиле и его сподвижниках», «Сборник сведений о потерях Кавказских войск (1801—1885)» и многие другие, часть из них хранится в личном архиве Лохвицкого. Таким образом, произведение исторически документально, писатель приблизился в нем к тем требованиям, которые современность предъявляет этому жанру. «Один французский ученый, — замечает писатель и историк Ю. Давыдов, — тонко подметил: мы нынче предпочитаем удовольствию от вымысла удовольствие от подлинности. Повесть «Громовой гул» подлинна именно в этом смысле. В ней слиты документ и колорит»¹.

В архиве М. Лохвицкого сохранилось письмо К. Симонова, который один из первых прочитал повесть «Громовой гул»

¹ Ю. Давыдов. Кайсаров: драма совести. — В кн.: Громовой гул. Тб., 1977, с. 167.

и откликнулся на нее. Какие-то отдельные сцены повествования показались Константину Михайловичу спорными, но в целом «новую вещь» Лохвицкого нашел он «талантливой, благородной по своему духу». Указывая на некоторые недоработки или же неточности в повести, К. Симонов вместе с тем отмечал: «...Читал ее, как говорится, на одном дыхании, очень интересно, написано жестко, точно, и романтизм тут жесткий и точный, идущий от Лермонтова романтизм, который мне очень по душе».

События в повести «Громовой гул» даются в восприятии русского офицера Якова Кайсарова, ставшего государственным преступником. Примечательно, что до знакомства с жизнью черкесов Кайсаров разделял предубеждения против этого народа, как впрочем против кавказцев вообще, привитые ему воспитанием и средой. Но вот, исподволь, зреет «драма совести», происходит то, что называется переоценкой ценностей — русский офицер переходит на сторону черкесов. Беспокойные нравственные метания, размышления возвышают Кайсарова до понимания общечеловеческого значения событий, участником которых он становится. Сам он говорит об этом так: «Решение излить свою душу на бумаге зрело во мне, как я теперь догадываюсь, постепенно и порождено было тайными муками совести, той постоянной болью, которая иссушила меня и превратила человека средних лет почти в старика. Имею в виду не только свою собственную совесть, а и ту всеобщую, частица которой есть и в вас, и во мне, в каждом человеке».

В воспоминаниях и рассказах Якова Кайсарова неизменно присутствует двойственное отношение к завоевательным войнам на Кавказе — с одной стороны, официальное, государственно-монархическое, с другой — народное, разделяемое и лучшими представителями русской интеллигенции. Мать рассказывает юному Якову о впечатлении, которое произвели на нее горцы, переселенные в Калугу вместе с Шамилем. «Очень привлекательные статные молодые люди, — поделилась своими впечатлениями мать, — с большим достоинством держались. Все были к ним внимательны, но, знаешь, мне почему-то показалось, что так же внимательны были бы наши дамы к молодым львам, если бы их привезли из Африки. — Тогда это живое наблюдение матери проскользнуло мимо, а теперь вспомнилось».

Служба на Кавказе, наблюдение за жизнью и бытом кавказских народов во многом изменили образ мыслей Кайсаро-

ва. Интересен в этом отношении образ поручика Попова-Азотова, первым поколебавшего в Кайсарове дух верноподданничества, заронившего сомнение. Уже после гибели поручика герой повести начинает осознавать, что он был лучшим в роте. Несмотря на то, что поручик — проходной персонаж в повести, он несет важную функциональную нагрузку. Сцена гибели Попова-Азотова изображается писателем внешне бесстрастно, скупыми штрихами, но как раз эта будничность, выразившаяся и в заключительной фразе, как бы подводящей итог нелепости человеческой судьбы, не может не заставить задуматься Якова Кайсарова, не произвести в нем внутреннего духовного сдвига: «...Через полчаса я волок его тело к нашей позиции. Горцы выстрелили всего лишь раз, вероятно, они целили по георгиевским крестам на груди поручика. Пуля попала в солнечное сплетение и прошла насквозь к левой лопатке. Перед смертью Попов-Азотов пробормотал: — Мерзость... Все мерзость... За ужином выпили за мое здоровье и за упокой души Попова-Азотова».

Попов-Азотов — антипод Офрейна, тупого ревностного служаки с «заплывшими свинными глазками», приспособленца и хамелеона Гайваронского, обеспокоенного, что будет с ним, с кадровым офицером, когда прекратятся войны, на что Попов-Азотов иронически замечает: «—Рекомендовал бы вам отправиться в Северные Американские Штаты, там вас как опытного командира, отличившегося в лихих атаках и победных сражениях, охотно примут в войска, сражающиеся против президента Линкольна». В словах поручика немало язвительной иронии, которая обнаруживает в нем человека, стоящего неизмеримо выше окружающей его офицерской среды. Он глубоко осознает всю бесчеловечность войны против горцев (впрочем, как и дискриминацию негров, против которой выступал Авраам Линкольн), «гениальность» тактики царских генералов, дотла сжигавших аулы горцев (даже так называемых «мирных») и либо истреблявших их, либо сгонявших с прадедовских земель и вынуждавших уходить в Турцию». — Поистине гениальная тактика! — громко заявил поручик Попов-Азотов. — Славься, славься, наш русский царь! Уверен, что после окончания войны в здешних местах, на какой-нибудь горе Ермолу и Барятинскому установят памятник из базальта в форме большого топора и с надписью: «Великим дровосекам».

Внутренне прозрение Кайсарова, зачатие «драмы совести» связано именно с гибелью Попова-Азотова. «Похоронили мы Попова-Азотова под одинокой яблоней, возле мирно журчаще-

го ручья. Я, не знаю уже почему, задумался не о нем, а о том молодом горце, которого убил. Впервые подумал я, что горец был убит возле **своего** дома. Простая мысль эта словно при- давила меня. Жил он себе со своей семьей, матерью, отцом, детьми, а потом пришел откуда-то я, именно я, и убил его».

Переход Кайсарова на сторону черкесов совершается не совсем осознанно, в силу случая — знакомства с певцом — «джегуако» Озермесом. Образ Озермеса может показаться несколько условным, символичным, но исторически имеет вполне устоявшуюся функцию, значение. «На Кавказе, в Кабарде — рассказывает М. Горький, — существовали гегуако, бездомные народные певцы. Вот как один из них определил свою цель и свою силу: «Я одним словом своим, — сказал он, — делаю из труса храбреца, защитника своего народа, вора превращаю в честного человека, на мои глаза не смеет показаться мошенник, я противник всего бесчестного, нехорошего»¹. Наши писатели, — замечает в этой связи он, — разумеется, считают себя выше «некультурного» поэта кабардинцев. И далее: «Если бы они действительно могли подняться на высоту его самооценки, если бы могли понять простую, но великую веру его в силу святого дара поэзии!»

Пытаясь разобраться в своих чувствах, побуждениях, Кайсаров говорит: «...Когда я пошел с Озермесом, я не к шапсугам направлялся, а уходил от всего опостылевшего, от смерти, от самого себя». Не будь этой апатии к жизни вообще, о которой упоминает писатель, читатель, возможно, был бы в праве требовать более обоснованной психологической мотивации причин, побудивших русского офицера перейти на сторону горцев.

Другая фигура повести, способствующая более глубокому раскрытию духовного, нравственного мира Кайсарова, это старый кавказец, капитан Закурдаев, поначалу чем-то напоминающий лермонтовского Максима Максимовича. Но сходство это лишь только внешнее: едва ли Максим Максимович мог вместить в себе такую бурю противоречивых чувств. Закурдаев, видимо, давно и глубоко страдает, и страдание это вызвано, с одной стороны, массовой гибелью черкесов, которые обрекли себя на голодную и добровольную смерть (сцена на Поляне Смерти — одна из сильных и впечатляющих в повести), с другой — лишениями и испытаниями, которые выпали на долю

¹ М. Горький. Собр. сочин. в 30-ти томах, т. 24, М., 1953, стр. 74.

русского солдата в этой кровопролитной войне. И здесь опять же боль за неразумность человека — вспомним эпиграф: «И были люди только единым народом, но разошлись», лейтмотивом проходящий через всю повесть, объединяющий, в известном смысле, и индифферентизм капитана Закурдаева, велевшего похоронить православного фельдъегеря в одной могиле с мусульманами. «— Афанасий Игнатьевич, — я толкнул задумавшегося капитана, — негоже получилось... Про фельдъегеря говорю. — Он уставился на меня с мрачным видом, словно не уразумев, о чем я. Потом криво усмехнулся и проворчал совсем дикое: — Там они в мире лежать будут. Меня тоже бы туда, когда помру... Только в могиле все мы можем сговориться».

Нельзя не сказать хотя бы двух слов о польском повстанце Штефане Высоцком (образе, правда, опять же эпизодическом), исповедующем право всякого народа на свободу, суверенитет, независимость. Больной, почти в полубредовом состоянии он обращается к Кайсарову: «— Простите, я люблю Россию, я ненавижу только вашего царя. Вы достойный человек, раз вы с черкесами... На вас этот мундир, не нужно, снимите его, у меня есть бешмет, черкеска, папаха, возьмите их после моей смерти...» И далее следует тонкое наблюдение писателя, лаконичная и вместе с тем глубокая психологическая деталь, раскрывающая душевное состояние героя повести. «Когда воротник пахнувшего чужим потом бешмета обхватил шею, я словно застыл, пальцы свело, и никак не получалось застегнуть пуговицы... Но должен, однако, признаться, что когда я снял с себя свою одежду, во мне что-то словно оборвалось. Мундир — тряпка, и все же будто пуповина была перерезана».

Идея гуманизма, единства всех людей, постоянно, в самых разных ситуациях, варьируется в повести. Кайсаров, поселившийся в ауле, в сакле Аджук, признается: «...от ласковых глаз Аджук, от грезившего о чем-то Озермеса струилось такое участие ко мне, какого я не встречал за свою жизнь». Возможно, такую непредубежденность помогла сохранить черкесам их близость, нерасторжимость с природой, в которой, как известно, Руссо усматривал залог нравственного здоровья, гармонии.

В драматичной, достигающей кульминации финальной сцене смерти черкешенки Зайдет, дочери Аджук, ставшей женой Кайсарова, вновь звучит мотив общности людей, мысль о неразумности истребления и разрушения Красоты. «И ее (Зайдет — Н. Ц.) и Зару, многих других дочерей шапсугов природа

сотворила красавицами. Так можно ли примириться с тем, что красота была убита, что красоту будут убивать вновь и вновь?».

Большое внимание в повести «Громовой гул» писатель уделяет языку персонажей, на котором, в известных случаях, лежит своеобразная печать их социального быта, профессии (простонародная речь Тимофея Кузьмина, прослужившего на Кавказе двадцать пять лет, удачная стилизация возвышенной, образной восточной речи с многократными повторами певца Озермеса).

Перу М. Лохвицкого принадлежат также две историко-биографические повести о грузинских революционерах Л. Кецховели и А. Джапаридзе. «Какая причина заставляет современного писателя, не историка, отказываться от свободного плаванья в столь хорошо знакомом ему море жизни и обрекать себя на трудное путешествие в прошлое, где ему приходится часто брести на ощупь, медленно прокладывая дорогу в неведомом поначалу мире, познавая, словно бы заново, все, вплоть до реалий быта?» — задается вопросом писатель и продолжает далее: «Между историческим романом (или повестью) и романом о реально существовавшем лице есть не только на поверхности лежащая разница. Вымышленный герой (безразлично, современный или живший в прошлые века) рождается писателем, и хотя герой этот, будучи произведен на свет, начинает жить своей собственной жизнью, зависимость его от индивидуальной воли автора значительно больше, чем персонажа, чье реальное существование зафиксировано различными документами. О реально существовавшем историческом лице автор узнает все, чем оно было наделено в своей реальной жизни, и все, что сам автор дополнительно вложил в него. Иначе говоря, две правды: правду жизни и правду художественного образа. Так, может быть, историко-биографический жанр художественной литературы есть синтез этих двух правд?»

Историко-биографическая повесть М. Лохвицкого «Выстрел в Метехи» по своей структуре двупланова: с одной стороны, исторический материал, а с другой — живой современник автора — Варлам, друг Ладо Кецховели. Тут мы имеем дело со своеобразным принципом построения повести, заявившем о себе лишь в самое последнее время и получившем в критике название «открытого исследования». «С тем, что делает Лохвицкий, принцип «открытого исследования» может быть косвенно сопоставлен; правда, появление автора на страницах книги, появление, так сказать прямое, открытое — всего лишь несколько «ударных», эмоционально насыщенных эпизодов. Каж-

дому из этих эпизодов найдено точное место, в каждом найден верный тон, и благодаря лаконичности прямого авторского вторжения в повесть лишь действенной результат, лишь большее доверие вызывает автор»¹.

Авторские ремарки, знакомящие нас с замыслом и возможностью его реализации, становятся, таким образом, органической частью самого повествования: «Между днем, когда ушел из жизни Ладо, и днем, когда я родился, лежит промежуток в два десятка лет. Теперь, когда я пишу эти строки, расстояние, отделяющее меня от Ладо, увеличилось до семидесяти лет. Сумею ли я приблизиться к нему, увидеть его таким, каким он был, сумею ли сделать далекое близким?»

М. Лохвицкий стремится максимально приблизить нас к эпохе, времени и атмосфере жизни своего героя, ничего по возможности не упустить. «Мне хочется найти хоть одного старика, пусть совсем глубокого, который был знаком с Ладо и сумел бы, подобно Вергилию, взять меня за руки и повести в дни минувшие».

Знание быта различных уголков Грузии, отрывки грузинских народных песен, пословицы и поговорки, вводимые в ткань произведения, сообщают ему художественную и историческую достоверность, придают своеобразный колорит.

Читатель повести «Выстрел в Метехи» становится свидетелем острой нравственной и интеллектуальной дуэли между жандармским ротмистром Луничем и политическим заключенным, революционером Кецховели. Здесь сталкиваются два мировосприятия, два отношения к жизни, к ее ценностям, подлинным и мнимым. В сценах допроса выявляются возвышенный, гуманный характер Кецховели и эгоцентризм, обреченность Лунича. Ладо Кецховели ясно осознает, что «насилие над другими и над собой, — родные братья. Надо уметь брать на свои плечи тяжкую ношу людей и, не скупясь, раздавать им свою даже самую малую радость, не боясь остаться ни с чем». Но дано ли это будет когда-нибудь понять Луничу?

В повести «Выстрел в Метехи» особенно красочно изображаются сцены жизни и быта старого, дореволюционного Тифлиса, города столь своеобразного и неповторимого. И читатель, которому хоть раз довелось причаститься к этой трепетной красоте, великолепно почувствовал это: «Удивительная страна раскрывается для нас на страницах книги М. Лохвицкого. Кав-

¹ В. Кисунько. Причастность. Юность, 1975, № 3, стр. 66—67.

каз, Баку, Грузия... Грузия — древняя и вечная, родная нам Грузия, давно освоенная русской литературой и снова — в который раз! — завораживающая читателя. Все здесь удивительно, все необычно. А ведет нас по Грузии, по ее пространству и времени человек, который здесь свой, который знает эту страну, любит ее, связан с нею крепчайшими узами. И это очень важно, потому что не всякому откроется эта страна, не всякого одарит своим доверием. [...] Грузия не сказка, не экзотический островок в океане пространства и времени, она имеет свою новую историю...»¹.

Нельзя не сказать хотя бы двух слов (здесь нет возможности для сколько-нибудь обстоятельного разговора) о другой историко-документальной повести «С солнцем в крови», хотя бы о принципе построения этого произведения. В отличие от «Выстрела в Метехи», настоящая повесть строится в основном на внутреннем диалоге. Рядом с Алешей Джапаридзе, главным героем повести, стоит бакинский рабочий Степан. Вся повесть «написана как бы на два голоса: то звучит быстрая, жесткая, иногда упрощенная, а иногда и страшная в обнаженной своей простоте речь Степана, то ее сменяет обстоятельное авторское слово, повествующее о революционном возмужании Алеши, о его любви и трагической гибели его. Замысел этот, обусловивший и соответствующее построение повести, представляется на редкость плодотворным»².

Творчество Михаила Лохвицкого, безусловно, на наш взгляд, интересное, является свидетельством того, как русский писатель глубоко и органично вживается в другую культуру, постигает своеобразие ее эстетического мира.

¹ Л. Дерюгина. «Едины и слиты...», Дружба народов, № 9, 1974.

² А. Нежный. Три вопроса — один ответ. Литературное обозрение, № 12, 1982.





„В непредвзятом зеркале литературы...“

Владимир Огнев. «Ночные прогулки». Владимир Огнев в книге-эссе как бы закрепляет за собой свободу выбора тем и произвольный характер вариаций. Однако от первой до последней страницы вся эта стройная книга подчинена осмыслению одной из самых сокровенных тайн культуры — поэтическому в искусстве. Ареал исследования — литература и культура Грузии. Цель — обретение нравственной опоры во взаимоотношениях человека и природы, человека и человека. И потому не все объединены в этой книге Важа Пшавела, Отар Чиладзе, Тенгиз Абуладзе и герои их произведений.

«Мы, люди XX века, ничего так не боимся, как показаться сентиментальными», — пишет В. Огнев. Но «у кого не сожмется сердце, не встанет память личных утрат и надежд на лучшее будущее в связи с одним только словом дом... Дом становится символом прочности, укорененности в природе. Дом — символ пристанища души... Этот дом надежды и веры, прочность ориентиров жизни нашей, ищем мы все».

Очерки и заметки о поэзии Грузии, классической и современной, занимают в книге наиболее значительное место и определяют ее лицо. Галактион Табидзе, Георгий Леонидзе, Симон Чиковани — о ком бы ни шла речь, в беллетристическом даре критика неизменно объединяются исследователь и просветитель.

Написанное о Николозе Бараташвили — многоплановый литературный портрет важного и драматического периода грузинской истории, ключом к которому стало творчество великого поэта. Постепенно из переписки, имен, дат, многочисленных отрывков выявляется главная особенность этой поэтической судьбы, творческое осуществление на стыке Востока и Запада, органическое воплощение национального.



В рамках стилевого единства книги — широчайший диапазон подходов к произведениям: исторический, эстетический, собственно литературный и, наконец, переводческий.

Большое количество разнообразных примеров, привлечение подстрочных переводов позволяет критику вторгаться в пограничную сферу, в технологию перевода, означивать и освещать проблемы, актуальность которых сохраняется в течение многих десятилетий. «Обычно в заботах о «стройности» изложения (под которой мы часто подразумеваем внешнюю стройность, связность, доразжеванность) сокращается живая плоть времени, ничем не заменимые характерные черты языка»... «Противоречивое толкование термина «точность» перевода, мне кажется, обусловлено сегодня специфическими причинами, связанными, в первую очередь, с вторжением кибернетики в искусствоведение. Прогресс точных знаний в XX веке породил некоторые иллюзорные надежды на такой же решительный перевод гуманитарных наук на язык новейших научных формул... Точность перевода чаще всего стала представляться как лингвистическая проблема». «То, что мы сегодня называем структурой, материей стиха, есть не только язык, но и стиль, отношение между эмоциональным строем слова, строки и функцией ритма и т. д. ...Математический подход к поэзии мстит».

Главы о грузинской поэзии, классической и современной, закономерно завершаются «заметками о поэтическом переводе». Эта статья, написанная довольно давно и вовсе не бесспорная в частях, в целом и сегодня может стать центром полемических баталий с гораздо большим основанием, чем многое из опубликованного по проблемам художественного перевода в последние годы.

Убедительны и глубоко художественны очерки о книгах лучших современных грузинских писателей Н. Думбадзе, О. Чиладзе, Ч. Амиреджиби, Т. Чиладзе, Р. Инанишвили, объединенные в главе «Поэтическая проза». Важное значение в композиции книги имеет небольшая глава о грузинском кинематографе.

Связь с Грузией, с ее культурой давно стала необходимой частью художественного сознания Владимира Огнева. Тепло этой земли, нерастраченное обаяние людей, ее населяющих, сохраняемая еще привязанность к истокам, уважительной обрядности и сегодня, несмотря ни на что, убеждает пришедшего, заражает подлинностью жизни, внутренней цельностью, столь необходимой каждому из нас...

Евгений Сидоров. «Мысли в дороге». «Общество нуждается в объективно-глубоком, смелом искусстве, ибо это один из важнейших ферментов, обеспечивающих здоровое развитие всего общественного организма». — В этом утверждении позиция критика, главная предпосылка подхода к сложным, даже драматическим коллизиям современного литературного процесса.

«Сегодня держат экзамен важнейшие мировые идеи, имеющие многовековую давность, однако, читая нашу прозу о современности, об этом можно только догадываться».

«Догадываюсь, надо порвать с собственными пристрастиями, теперь надо выходить на дорогу более широких размышлений, требуется новая сила и смелость, требуется мужество открывать новую глубину и сложность жизни».

Я выбрал две из целого каскада цитат, приведенных автором в статье «На пути к синтезу», первая принадлежит Л. Леонову, вторая — В. Шукшину. Вообще критик обращается к писательским высказываниям редко, скупно, и не просто для подтверждения своей точки зрения в ходе полемики, а как бы для того, чтобы опереться на особую реальность — реальность писательской интуиции.

Выбор пути для писателя — в прямом смысле — дело жизни. Поставленные рядом замечание Леонова и признание Шукшина — это одновременно и постановка проблемы, и путь к ее разрешению.

Говоря о современном романе, жестко очерчивая круг критического обзора, Е. Сидоров подчеркивает, что лучшие наши современные писатели «пишут книги выстраданных вопросов, а не готовых ответов». Тем самым критик отстаивает важнейшее право художника: вторгаясь в спор о времени, строить себя самого.

Совершенствование общества идет через совершенствование личности, и в первую очередь личности писателя, «поэтому каждый мыслящий и страдающий сегодня человек обязан отвечать не только перед будущим, но и перед прошлым».

«Грузия пробуждает в человеке идеальное стремление отдать, помочь, поддержать в трудную минуту», — пишет Е. Сидоров в авторском предисловии. И несколько позже, размышляя об истоках прозы Н. Думбадзе, как бы осмысливает, уточняет то первое, мгновенное признание: «Есть старые и простые истины, в которые надо верить и которым надо безусловно следовать, потому что в них сосредоточена огромная

нравственная энергия поколений, предвосхитивших нашу судьбу».

Масштабность, последовательный внутренний историзм, неизменное внимание к проявлениям интернационального в оценке художественных достижений современной многонациональной советской литературы: все эти черты критического стиля Е. Сидорова позволяют говорить о развитии в его работах лучших традиций советской литературной критики.

И хотя книга, по словам автора, сложилась из отдельных публикаций, первая, собственно критическая ее часть выглядит едино. Заключительная часть книги — литературные эссе — как целое, несколько слабее. Особенно это ощущимо в тех работах, где полемист отступает перед хронистом.

Несомненная удача в этом разделе — «Соло Евгения Евтушенко». «Признаюсь, — пишет Е. Сидоров в последнем абзаце, — что Евтушенко для меня не просто близкий товарищ, поэт, публицист, прозаик и пр., и пр. Он для меня и литературный герой».

Что ж, это — важное признание, позволяющее определить саму вещь едва ли не как повесть критика. Должно быть, «эта стихия характера, вовлекающая в творчество все живое, все окружающее, превращая отраженную жизнь в захлебывающийся напор лиц и деталей, была необходима автору, помогла ему в этой работе преодолеть неизбежную рассудочность ценителя, порожденную рассудочностью времени.

По объему «Соло Евгения Евтушенко» — маленькая повесть. А по существу — стенограмма жизни целого поколения, репортаж на перекрестке истории. И здесь явленные в одном лице критик и друг, восторженный слушатель и скептический молчун говорят почти одновременно, сталкиваясь и противореча друг другу и неизбежно меняя точку отсчета — поэта во времени и время — в поэте: «Дидактика и риторика — постоянные спутники Евтушенко»... «Он прикован славой к себе молодому, как каторжник цепью»... «Гибко переимчивый пластичный Евтушенко... Его стихия — прикоснуться, назвать, быть первым»... «В том, что сегодня стоит над бабьим яром памятник жертвам фашизма, есть и доля гражданской заслуги поэта Евгения Евтушенко».

Вздор, скепсис, наконец пафос этих отрывков — признаки подлинности критического проникновения во имя дружбы и несмотря на нее.

«Стало быть, надо сделать еще одно решающее усилие и слить воедино в душе творящего и мыслящего современного

героя историю и быт, войну и мир, землю и небо, слить так, чтобы его устами заговорил народ, осознающий себя в непревзятном зеркале литературы». — Пишет Е. Сидоров в статье «На пути к синтезу». Читая «Соло Евгения Евтушенко», вновь с очевидностью осознаешь, что есть творящий и мыслящий Народ, в котором усилиями времени слиты воедино история и быт, война и мир, земля и небо, и необходимо, чтобы его устами заговорил герой литературы.

Андрей Битов. «Грузинский альбом». Эта книга — не движение в пространстве, а скитания во времени. Но вся она от гор Кавказа до Куряжской Косы — ландшафт, вертикали и горизонталы которого — причуды земной коры и символы возраста.

«Этот темно-сизый мир еще не был заселен. Ни крыши, ни дымка, насколько хватало взгляда. А его не хватало... Здесь надо было заново учиться языку, зародить его, разлепить с трудом губы, тем же исполненным бесстрашия усилием, каким осмелился распахнуть глаза, и произнести первое слово... Я застыл на пороге. Замер в дверях. Ворота в мир. Врата мира. Я стою на пороге. Это я стою. Это — я».

Что это? Откуда? Видение одного из спутников Данта? Дневник астронавта? Нет, это наш умудренный современник, москвич по судьбе и ленинградец по рождению, в горах, на пороге Грузии зашел полюбопытствовать на древние стены и вдруг осознал миг своего прихода! Толкнул камешек, а уронил вниз, в долину, в мир свое драгоценное, свое единственное «я», уронил и стал миром...

Да нет, все не так просто. Это прозрение только на миг, до следующего мига... такого! А между ними — разрозненный отрывной календарь минут и событий, в котором ирония и горечь так переплелись неуловимо, что во всем — игра и не игра. ...Это очень типично сегодня: по случайности, в глухом углу, убегая от пустоты собственной встретишь на безрыбье человека — чудака; да начнешь его этак свысока разглядывать, да забудешься и глядь: сидишь ты перед ним на маленькой скамеечке, а он над тобой огромный, как ель, и лоб луной освещен... И словно нет вокруг твоего придуманного книжного времени, а все оно разбито на отдельные секунды-судьбы, и у каждой судьбы — своя доля в красоте мира. Вот «еще в детстве была — тетя Поля, Пелагея Павловна, кулачка, старушка добрая, как котлета..., «Камни растут», — говорила она».

«Забыть, или помнить? — вот в чем вопрос. Именно,

именно! Вот я не живу, потому что помню вчера и не живу сейчас, намереваясь жить по памяти в будущем... значит надо забыть, чтобы быть живым, реальным сейчас. Но мир погиб из-за того, что забыли. Значит помнить?..»

«Грузинский альбом» — книга многомысленная: только на перечисление пластов ушло бы все поле рецензии, но даже самые острые вопросы в ней — от чего-то мягкие по ощущению, а написано все со странной легкостью, вязкой — как битум. И не всегда угадаешь, что тут от жалости, что — от беспощадности, что — к себе, а что — ко всем. И к чему ни обратиться в этой стройной неразберихе — везде навстречу тебе стучит сердце, то воробушкой, то — тараном. И тише, скромнее всегда там, где мысль обобщеннее. По этой сердечной устраненности и догадываешься, что даже самое убедительное обобщение сомневается в своей правоте.

О чем же эта книга, написанная так, что ее не перескажешь? Она об обособленной Земле-сфере и о земле простой, плоской, общей. Она о разобщенности человека и природы и о мнимости этого разобщения. Она о недугах призвания и об издержках интеллекта. Она о слове: «сходство по звучанию очевидно изначальнее сходства по смыслу», и о великом молчании. Она написана закоренелым аналитиком по просьбе ребенка, и потому кубики биографии разбросаны по ней с такой непосредственностью и излучают тепло. В ней, наконец, есть характерное для русского писателя неизбежное и неизреченное колебание между Западом и Востоком в пределах судьбы и в границах отечества. В конечном счете все это — попытка собрать биографию памяти, цепь значимых мгновений, людей, эпох, сконцентрированных в ныне живущем человеке. Биография памяти — особое единство несочетаемых гранул, каждая из которых, как осколок античной скульптуры, где часть целого — всегда целое.

Эту книгу можно было бы назвать исповедью, если бы не некое лукавство, особенная поза, выражаемая временами округлением смысла слов, или удлинением вопроса, слишком короткого по природе, чтобы стать философским. А впрочем, может быть, это ускользающее лукавство — способ скрыть страдающую душу и, не дай бог, не отпугнуть соучастника-читателя, столь же страдающего и потому бегущего от чужого одиночества?.. Не знаю. Но сквозь всю книгу, от Зедазни до Косы тянется нота жалости. Тоненькая, бесстрашная... Даже вечный младенец — кинематограф поселился, пе-

реживая «внеисторическое» время человеческой жизни, а писатель остался мальчишкой...

Что-то здесь не так. Не так что-то в нашей общей ностальгии по человечности, в нашем вялом противостоянии всеобщему рассудку. Так и хочется продекламировать самому себе слова одного из героев А. Битова, орнитолога с Косы: «Нельзя измерять пространство временем, как это делаете вы». Если в мире сегодня налицо — смятение физики, значит есть в природе и восторг алгебры. И возможен, необходим какой-то поворот или хотя бы шаг в сторону с синтетической дорожки абсурда, которую, похоже, мы сами раскатываем, предупреждая свои же осторожные шаги. Как в столь могущественном веке нам удалось убедить друг друга в том, что наше бессмертие сомнительно до такой степени, что в это поверили даже женщины? Ни смутиться над бездной, ни спуститься в преисподнюю нам не любопытно. Для того, чтобы выплыть в океане песка, надо споткнуться о песчинку. Но для этого человечеству надо переоценить свои амбиции. И оно обязательно делает это... Как?

Если бы я знал...



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ИЗВЕСТНОМУ грузинскому писателю Владимиру Тарасовичу Алпенидзе исполнилось 50 лет. Секретариат Правления Союза писателей СССР, Совет по грузинской литературе и Секретариат Правления Союза писателей Грузии поздравили Владимира Алпенидзе с юбилейной датой. В поздравительном адресе говорится о том, что дебют писателя состоялся три десятилетия тому назад, когда на страницах грузинской печати появились его первые стихи. Имя Владимира Алпенидзе ныне широко известно и в республике и за ее пределами. Литературная общественность дала высокую оценку как его книге стихов «Горы и юность», так и прозаическим произведениям — романам «Луна Армази», «Звезда-предвестница зари», «Любовь и бессмертие».

Вл. Алпенидзе известен и своими художественными очерками, литературными и научно-исследовательскими статьями, путевыми заметками, составившими отдельные книги. Его произведения переводятся на языки народов СССР и зарубежных стран.

Редакция и редколлегия «Литературной Грузии» присоединяются к этим поздравлениям и желают нашему юбиляру, другу и коллеге долгих лет, крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов на благо родной культуры!



Владимир ХАРИТОНОВ

Сквозь призму эстетических ценностей

В НОВОЙ редакции Программы КПСС понятие «художественное начало» заменено «эстетическим началом». Эта замена продиктована тем, что эстетическое, по сравнению с художественным, включает в себя более широкий круг явлений. Эстетические ценности, эстетическое отношение человека к действительности, будучи отраженными в искусстве, образуют в его предмете так называемую эстетическую сферу, подвижность в которой приводит к своеобразной эстетической реабилитации некоторых жизненных явлений, ранее считавшихся не эстетичными, к равноправию эстетических оценок действительности (трагического), к совмещению различных способов эстетического освоения мира в структуре одного произведения, к неоднозначной трактовке героя. Рассмотрим эти процессы на примере нашего театра, кино и литературы. Современный художник стремится к всестороннему отражению действительности и прежде всего личности человека. Сложность и многомерность последнего, открытие в нем все новых и новых сторон уже не позволяет трактовать человека в какой-то одной эстетической плоскости. Художник, познающий себя и окружающий мир, расширяет сферу этого познания, не ограничивается одним жанром, одним способом эстетического освоения действительности. Такому творцу свойственно «изображение процесса в целом, учет всех тенденций и определений их равнодействующей или их суммы, их результата»¹.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 27, с. 195—196.

При таком подходе из действительности вычлeняются и приобретают эстетическую значимость все более разнообразные жизненные реалии («Лад» В. Белова, «Горец вернулся в горы» К. Лордкипанидзе и еще три его последние документальные повести, «Тушети, моя Тушети» Г. Панджикидзе и другие). В эстетической сфере предмета искусства меняется отношение патетических и «прозаических» форм (возвышенного и повседневного), драматического и гармонического, трагического и комического.

Целостное художественное постижение жизни возможно только при использовании разных эстетических оценок этой действительности: от полного положительного приятия-восхищения до отрицания-осмеивания. То есть вся палитра эстетического должна найти место в творчестве художника, воссоздавая богатство и многоликость человеческого в мире и в самом творце. Творчески неповторимая личность обнаруживает в реальной действительности многоликие соответствия своим представлениям о прекрасном, возвышенном, трагическом. И тем самым автор утверждает возможность художественных реализаций своих представлений во всем их многообразии. При этом он стремится, как говорил Б. Л. Пастернак, «не помешать голосу жизни, рвущемуся из него»².

Т. Чиладзе в предисловии к книге М. Джохадзе «Человек из маленького двора» отмечает тяготение современных писателей к тому, чтобы «сделать актуальной повседневность, изобразить **вечного** человека... и вместе с тем почувствовать неповторимость, единственность его жизни и передать все это читателю средствами поэтическими, достоверно и добросовестно».

Признание самоценности личности — это признание эстетической ценности и хрипловатого голоса Владимира Высоцкого, и грубоватой лексики отца Людмилы Гурченко из ее повести «Мое взрослое детство», и площадных интонаций и жестов Аздака в исполнении Рамаза Чхиквадзе («Кавказский меловой круг» в театре им. Ш. Руставели в постановке Роберта Стуря).

Поворот художественных поисков в область бытового и привычного позволил Лейле Горделадзе (фильм «Пять невест для любимой») опозитизировать обыденное и показать животноводческую ферму, избушку пастухов и все комические поиски ветеринара Бачуты с взволнованной и зримой конкретикой. Та же

² Цит.: Маргвелашвили Г. Г. Галактион Табидзе. Тбилиси, Мерани, 1973, с. 36.

тенденция привела Ваню Чхиквадзе, о котором Г. Асатиани сказал, что «он любит писать акварелью... небольшие лирические зарисовки», в которых «преобладает ясный, умытый и очищенный дождем пейзаж»³, к написанию поэтического цикла⁴, наполненного массой неотвратимых жизненных реалий:

Столовая у железной дороги,
воняющая запахом табака, помоев и многих...

Отар Мегвинетухуцеси, исполняя роль опустившегося провинциального актера Лео («Провинциальная история», в театре им. К. Марджанишвили, в постановке Медин Кучухидзе) не боится быть некрасивым, грубым; он воссоздает суровые житейские будни своего героя, блистательно и с особой тщательностью обыгрывая и сознательно акцентируя внимание зрителя на самых заземленных и вещественных ремарках пьесы Л. Росебы: «...роется в остатках завтрака, находит кусочек рыбы, нюхает его с подозрением и отбрасывает».

Способы эстетического освоения действительности, традиционно применяющиеся в искусстве, сегодня получают в нем более широкие права. Так, трагическое заняло теперь важное место в эстетическом содержании искусства; происходит даже своеобразное приращение трагического. Автор «Отпуска по ранению» Вячеслав Кондратьев по этому поводу пишет, что «Георгий Соколов пошел дальше и глубже моей повести. Он поставил трагедию, хотя никто на сцене не умирает. Но трагедией была сама война, а она коснулась каждого, и того, кто был на фронте, и того, кто оказался в тылу. Благодаря такой трактовке все персонажи спектакля приобрели какую-то большую значительность и глубину»⁵. Трагические ситуации и конфликты (рассказы Д. Топуридзе), трагические судьбы таких героев, как Марина и Дато («Дорога в детство» Т. Буачидзе), Егор Прокудин («Калина красная» В. Шукшина) раскрываются художниками многомерно и широко.

В мир «маленьких» и больших трагедий вводит читателя Гурам Гегешидзе. В его романах, повестях и рассказах живут люди сложной судьбы, с неясным прошлым и зыбким настоящим, и писатель, как он сам говорит в романе «Гость», пытается «вторгнуться в сферы души, окутанные тайной, и про-

³ Асатиани Г. Истоки поэзии. В книге: Асатиани Г. Корни и крылья. М., Сов. писатель, 1981, с. 92.

⁴ Литературная Грузия, 1984, № 6.

⁵ Кондратьев В. Как автор и зритель. Сов. культура, 1984, 24 января, с. 4.

лить свет на многие, до сей поры неизвестные явления». Это «вторжение» автор совершает чаще всего с помощью реминисценций в прошлое своих героев и постепенного приближения к предмету исследования. Вместе с сельским учителем Тархуджем Гурамишвили («Гость») мы смотрим с Мтацминда на Тбилиси, любуемся этим городом, в котором герой когда-то жил и учился.

С высоты город воспринимается гармонично и целостно. По мере спуска «увеличиваются предметы... меняется пред тобой город-ристалище человеческих страстей и судеб». Здесь на наших глазах пройдет один сегодняшней день и вся предшествующая жизнь Тархуджа, в которой были и обездоленность сиротства, и горестное детство, и преждевременно погибшие друзья.

Истоки трагических ситуаций писатель обнаруживает в отклонениях от норм социалистической законности, в душевной черствости и невнимании людей друг к другу. Гегешидзе ведет поиск таких нравственных сил и ценностей, которые часто причудливо соединены с моральными искажениями. Вамех Гурамишвили из романа «Грешник», наделенный мучительной способностью реагировать на чужую боль постоянно и остро, ищет опору в людях, его окружающих (Шамиль, Дзуку, Алиса), взывает к ним и приходит к пониманию слитности с ними. В Вамехе происходит процесс углубляющегося познания мира. Воссоздавая этот внутренний динамизм, писатель вскрывает за благополучной оболочкой внешней стороны жизни и драматические обстоятельства, чреватые трагическим исходом.

Углубляя познание современной действительности во всем ее многообразии, современное искусство приходит к необходимости расширения и усложнения и системы ценностных интерпретаций этой действительности. В частности искусство осмысляет такие положения и характеры, которые сегодня уже не могут быть оценены однозначно.

Показательными в этом плане являются сопряжение трагического и комического и художественная трактовка героя в современном искусстве.

Будучи способом ценностной интерпретации явлений действительности, категория «трагикомическое» служит эстетическому освоению (осмыслению, оценке) определенного круга взаимоотношений в сфере человеческой жизни. С помощью трагикомического, с одной стороны, улавливаются явления как будто бы предельно крайние, противоположные. На самом деле (и это для современного искусства наиболее характерно) траги-

04.1935940
2023.07.03.33

комическое как эстетический инструмент выделяет в объекте искусства те разнородные ситуации и характеры, которые находятся еще в стадии становления, переходности.

Нарождающееся жизненное явление может быть поначалу оценено в самой действительности не вполне объективно и чаще всего с однозначной определенностью (либо трагическое, либо комическое). Художник же, удовлетворяющий перспективную потребность и наделенный способностью предвидения, образно «проигрывает» ситуацию и с помощью трагикомического представляет данное явление более многозначно, сложно и опосредованно. В современном искусстве трагикомическое закрепилось и стало устойчивым художественным феноменом благодаря рассказам и фильмам В. Шукшина, повестям Н. Думбадзе, песням В. Высоцкого, пьесам А. Володина, творчеству А. Райкина.

В трагикомическом искусстве обнаруживает свое тяготение к изображению крайностей и противоречий. Произведение, возникшее на основе взаимодействия трагического и комического, отражает предмет широко и многогранно. Жанровые контуры его становятся менее четкими, поскольку лишаются традиционно точной тематической привязки.

Сложное переплетение трагического и комического находим в творчестве Эльдара Шенгелая, в фильмах которого складывается особая художественная атмосфера; она адекватна жизни и в то же время отвлечена от нее и изменена авторским взглядом, добрым и ироничным как по отношению к окружающим, так и к самому себе. Режиссер изображает ситуацию и одновременно ее оценивает, он живет в ней — и наблюдает как бы со стороны, вместе со зрителем. Подобная двойная игра, некоторое остранение помогают делать естественные переходы от буффонады к высокой скорби. На сознательном и преднамеренном смешении высокого и низкого, драмы и фарса построен фильм Шенгелая «Голубые горы, или Неправдоподобная история». Трагическое и комическое, добродушный смех и трагическое неприятие существуют здесь не рядом, не отдельно друг от друга, а непосредственно друг в друге, создавая в синтезе то, что мы и называем трагикомическим в искусстве.

Размышляющий характер и масштабный объем делают фильмы Шенгелая философскими откровениями, в которых возникают и полноправно существуют характеры-типы, характеры-понятия, а точнее — различные варианты отношения к жизни: оптимизм Агули Эристави («Необыкновенная выставка»), непо-

средственность Эртаоза («Чудаки»), безответственность разных лиц («Голубые горы...»).

Наличие разнопорядковых явлений в структуре художественного произведения диктуется самой жизнью, которая тем и прекрасна, как говорил Лопе де Вега, что крайности являет ежечасно. Художественная гармония крайностей обнаруживается в «Мудрости вымысла» Сулхан-Саба Орбелиани и в словах, высеченных на могиле Александра Чавчавадзе в монастыре Шуамта: «Вечер водворится плач и заутра радость». Расширение возможностей современной литературы видел Тициан Табидзе в наследовании традиции «Калмасоба» и прозы Давида Клдиашвили, написанных в юмористическом жанре⁶.

Соединение трагического и комического — один из видов расширения эстетической сферы предмета искусства, и с художественными результатами этого соединения мы встречаемся в прозе Э. Ахвледиани, Г. Безиргани, М. Жванецкого, Д. Карчхадзе, В. Крупина, Г. Матевосяна, Вл. Орлова, в пьесах А. Вампилова, А. Чхаидзе, Г. Горина, в фильмах Р. Быкова, Г. Данелия, Г. Панфилова, М. Швейцера.

Свободно чувствуют себя в стихии гиперболизации, фантасмагории и сарказма Резо Чейшвили (рассказы «Киносъёмка», «Критическая статья», «Голубые мосты», «Приключения Шалико Хвингиадзе»), Гурам Дочанашвили («Ватер/по/лоо, или Восстановительные работы»), Борис Можаяев («Полтора квадратных метра. Повесть-шутка в четырех частях с эпилогом и сновидением»).

Озорную несерьезность, иронию как «скрытую насмешку, адресованную всей действительности»⁷, ощущаем мы в блестящих короткометражках грузинских кинематографистов («Аquareль», «Свадьба», «Кувшин», «Серенада»), в «Родне» Никиты Михалкова, в «Нескладухе» и «Небывальщине» Сергея Овчарова.

Одномоментностью трагического и комического пронизаны гротескные и мудрые спектакли — «Похороны в Калифорнии» Роберта Стуруа, «История лошади» и «Балалайки и К°» Георгия Товстоногова. Эти и многие другие названные выше художники смело сближают комическое не только с тра-

⁶ Т. Табидзе. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси, Литература да хеловнеба, 1964, с. 6—66.

⁷ Челидзе Л. Л. Диалог Сократа и проблема равенства людей. В книге «Культура и общественное развитие», Тбилиси, Мецниэреба, 1979, с. 103.

гическим, но и с героикой и романтикой, с возвышенным и прекрасным.

Подобное сближение проникает и в современную поэзию. На соединении печального и озорного построены многие стихотворения А. Вознесенского, А. Еременко, Т. Чантурия. В стихотворении Юрия Мосешвили «Ода лестнице», помещенном в его поэтическом сборнике⁸, ощущаются и горестные раздумья, и лукавая ирония:

**О лестница! Какой лукавый гений
сложил твои ступени в мудрый смысл:
так нелегко и долго восхождение,
так головокружителен путь вниз.
Да, испокон соблазнов полон тайных
путь по тебе — то ввысь, то в небытье,
то сладко восхождение, то фатально,
но — все равно — без лестниц не житье...**

Смещение разных способов эстетической оценки действительности породило в нашей литературе целое жанровое направление — так называемую эстонскую иронико-философскую повесть Э. Бээкман, А. Валтона, Э. Ветемаа, Л. Прометт, М. Унта. У этих авторов патетическое часто соседствует с заурядным, трагическое — с фарсовым. Как видим, сближение только двух крайних эстетических оценок действительности значительно обогащает художественную картину мира, представляя его широко и многообразно. Подобный синтез происходит и в сфере других эстетических оценок.

На сложном скрещении крайностей вырастают и образы героев современного искусства. Усложнившиеся требования к человеку, к раскрытию его внутренних резервов, внимание к человеческому фактору — все это делает особенно необходимым художественное исследование индивидуальной неповторимости каждой личности. Переакцентировка в эстетической сфере искусства привела к обогащению героя. В 1964 году актер Н. К. Черкасов спрашивал, где «...найти роль, которая хоть отдаленно напоминала советский характер...»⁹. Сравнивая совре-

⁸ Мо Юрий. Аполлон «под Бахусом». Тбилиси, Мерани, 1981.

⁹ Цит.: Романов А. В. Николай Черкасов. В книге: Романов А. В. Немеркнувший экран. Записки журналиста. М., 1973, с. 140.

менное положение в искусстве с тем периодом, когда себе роль Черкасов, а тем более с состоянием искусства середины 50-х годов, можно с уверенностью констатировать увеличение самых разнообразных типов и характеров, воплощенных в произведениях нашего искусства.

Тип и характер современного героя подвергся и качественным изменениям: в нем нет уже однозначного деления на положительное и отрицательное, ему свойственны многомерность и сложность. Как пишет А. Нуйкин, «...настаивание на обязательном присутствии возле каждого отрицательного персонажа положительного противовеса в виде носителя положительных начал — и нелепо и вредно...»¹⁰. Отличает современных героев — будь то правдолюбец Иван Петрович из распутинского «Пожара» или Дата Туташхиа из одноименного романа Чабуа Амирэджиби — их человеческая неповторимость, смутное или четкое осознание духовной неудовлетворенности. Создавая подобные образы, художники представляют не только результат, но и процесс изменения человека.

В момент появления первого романа Гурама Панджикидзе «Седьмое небо» было очень много споров вокруг фигуры главного героя — Левана Хидашели. Теперь, когда страсти улеглись и многое прояснилось и в жизни, и в искусстве, стала очевидной писательская прозорливость. Панджикидзе тревожил и беспокоил общество опасностью бездуховного существования именно в тот момент, когда ни человек, подобный Левану, ни окружающие его люди не замечали начала духовной болезни. Писатель обнаружил истоки нравственного перерождения Левана в его рациональном и прагматическом отношении к учебе, науке, спорту. Леван расчетлив и излишне целеустремлен, он утратил естественные и гармоничные связи с жизнью, и жизнь по принципу «для пользы дела» привела к односторонности его развития. Он стал чистым функционером и придатком к делу, к которому относится потребительски, как к средству достижения должностей, степеней, славы.

И самое главное, что волнует писателя, это то, что Левана все считают идеальным молодым специалистом; все, что делает он, вплоть до аварии, кажется и ему и его товарищам по работе вполне нормальным и даже достойным подражания, восхищения и самой высокой награды. Панджикидзе предугадал и художественно воплотил появление в жизни и в искусстве сверх-

¹⁰ Нуйкин А. Еще раз об идеальном герое. Вопросы литературы, 1986, № 1, с. 103.

делового человека типа Чешкова и трифоновского конформиста.

Стремление исследовать истоки и неоднозначность человеческих судеб свойственно многим советским художникам. Вниманию искусства все чаще занимают люди, осмысляющие и переосмысляющие духовные ценности. Таковы персонажи прозы М. Ибрагимбекова, О. Чиладзе, В. Тендрякова, пьес Л. Петрушевской, Отиа Иоселиани, С. Злотникова, сценариев Р. Габриадзе, А. Гребнева, Н. Рязанцевой, фильмов И. Авербаха, Л. Гогоберидзе, С. Соловьева. Особое место в этом направлении принадлежит Юрию Трифонову.

Трифоновское восприятие мира пронизано ощущением и даже предвидением последствий забвения революционных идеалов. Опасность подобных процессов особенно велика, ибо беспамятностью начинают страдать такие люди, как Дмитриев («Обмен»), житейски и родственно связанный с носителями высокой морали, выросший в их среде. И если даже он «окультуривается», становится потребителем, то что может произойти с людьми, которые подобных связей не имели и не имеют.

Трифонов заметил и отразил в своем герое процесс выветривания в человеке общественного, значимого для всех. Он показал новое состояние личности и общества, состояние, которое раньше наша страна не имела. Это период стабильного существования, когда человек начинает жить более автономно и в меньшей степени зависит от социальных процессов. Если раньше индивидуальное бытие само подталкивало человека к общественным связям и сознание общественное и индивидуальное были близки, то теперь независимое бытие индивида делает эти связи менее прочными. И в этот период общество не должно «упускать» индивида, оно должно находить и устанавливать более тонкие отношения с человеком.

Но когда в обществе становится преобладающей ориентация на материальное развитие, то общественное сознание, его духовные ценности становятся если не вторичными, то и не в равных правах с ценностями материальными. Это смещение происходило еще и потому, что многие духовные ценности предшествующего периода оказались дискредитированными, обесценились, и у людей возникло некое социальное равнодушие. Трифонов не обвиняет своих приспособляющихся героев. Он видит не вину их, а беду. Он объективен, как может быть объективным только человек, знающий, что движения души человеческой в конечном счете определены обстоятельствами его жизни.

Трифоновская линия в 80-е годы ощутимо продлилась в

целом ряде произведений (фильм Н. Михалкова «Без свидетелей», спектакль Т. Чхеидзе «Гаррота», романы С. Есина «Имитатор» и Г. Цицишвили «Одолей алчность свою»). Герои которых, являясь духовными братьями трифоновских конформистов, теперь открыто разоблачаются и исповедуются. Годердзи и Малхаз Зенклишвили из романа Георгия Цицишвили — это люди, использующие высокие идеалы нашей жизни для удовлетворения своих эгоистических страстей, не останавливающиеся ни перед чем для достижения своих целей.

Эстетическое многообразие проявлений героя объясняется опять же тем, что художники находят истоки художественных конфликтов в самой человеческой душе, в личностном, индивидуальном и интимном, в нравственно-психологических коллизиях. Обогащение и расширение эстетической области искусства продолжается в нашем художественном сознании. Об этом сказал Т. Чхеидзе на объединенном пленуме правлений творческих союзов и организаций СССР 10 апреля 1985 года: «...Мы, в сожалению, часто крепко держимся за уже найденное, уходим от поиска новых конфликтов и проблем или сглаживаем их остроту в угоду собственному покою».

Человеческую и художественную особенность самого Тебура Чхеидзе как раз и отличает прежде всего активное и действенное отношение к миру. В нем очень много от Георгия Тореги, так блистательно им сыгранного в фильме «Твой сын, земля»: ответственность, честность, искренность, неприятие лжи, несправедливости, косности и застоя. Качества эти отчетливо проявились во всех его спектаклях, поставленных в Зугдиди, куда он отправился после окончания театрального института вместе с группой актеров, в театре имени Шота Руставели, где работал ряд лет, в театре имени Котэ Марджанишвили, главным режиссером которого является.

С наибольшей определенностью режиссерскую творческую индивидуальность Чхеидзе характеризуют спектакли «Отелло» и «Хизаны Джако». И Шекспир, и Михаил Джавахишвили жили страстями и болями своей эпохи, обостренно чувствовали время. Но в ими созданном есть и нечто вечное: Добро и Зло — постоянные категории бытия, два непреложных противоречия человеческого мира, две силы, владеющие своим арсеналом нравственных, политических и правовых средств борьбы, обусловленных, конечно же, конкретно-исторической сферой существования человека.

К великим произведениям Чхеидзе отнесся не рабски, не копиистски. «Действовать вопреки совершающегося» (Л. Н.

Толстой) — эта мысль направлена в зрительный зал режиссером, так же обеспокоенным «совершающимся» сегодня. Им расставлены сценические и актерские акценты таким образом, что спектакли зазвучали острозлободневно и поразительно современно. Особенно это стало зримо с середины 80-х годов.

Главный смысл постановки «Отелло» Чхеидзе определял так: «Я ставил спектакль о том, как ничтожный, никчемный, в сущности, человек по имени Яго смог разрушить огромную страсть сильной личности — Отелло. Увы, иногда самым непостижимым образом ничтожество побеждает благородство и силу...». Нельзя жить прошлым капиталом идей, заслуг, терять чувство развивающейся реальности, современной жизни — это может привести к социальной и нравственной близорукости. Не трагедию обманутого доверия, а трагедию обманувшегося в себе человека — вот что прочитывают в классическом сюжете режиссер и исполнитель роли Отелло Отар Мегвинетухуцеси. Его Отелло — это человек, прошедший большую часть своей жизни в боевых сражениях и сейчас почивающий на лаврах былых успехов. Недаром действие спектакля происходит на пущечной палубе корабля, напоминающей музей или батальную диораму. Здесь все в прошлом, застыло, остановилось и покрылось пылью. И сам Отелло схож с музейным экспонатом: он параден, впечатляющ и малоподвижен. Отелло пресыщен силой, властью, истинной и мнимой любовью окружающих, и потому он бездеятелен и апатичен, растерян и негибок в неожиданных ситуациях, расслаблен и умиротворен, как человек, отдыхающий в привычной домашней обстановке.

И рядом с ним — живой и энергичный Яго (Н. Мгалоблишвили), действующий от его имени и прикрывающийся заботой о его благе. Он активен и целеустремлен, все берет в расчет и из всего извлекает свою пользу. Яго самозабвенно интригует и клеветает, лицемерно обвиняет и судит, нагло совершает мелкие и крупные злодеяния. И все это производится благодаря полному попустительству и бездействию Отелло.

Требовательность и тревожность режиссерского взгляда на мир демонстрирует и спектакль «Хизаны Джако», главная мысль которого выражена в словах, предуведомляющих программку к спектаклю: «Нельзя становиться рабом насилия, в любой ситуации нужно сохранять чистоту души».

В отличие от мхатовского «Обвала», также осуществленного Т. Чхеидзе, марджанишвилиевская постановка — это прежде всего спектакль о человеке, который не сумел реализовать

себя как личность, позволил обстоятельствам убить в себе высокие намерения и унизить свое человеческое достоинство.

Князь Теймураз Хевистави (Н. Мгалоблишвили) искренно приветствовал приход революции, но нелегко, оказывается, согласовать строй своей души, свои устоявшиеся нравственные представления с новой социальной действительностью. Отвлеченное прекраснодушие, чисто словесная устремленность к социальной справедливости и гармонии ведет интеллигентного человека к предательству своих убеждений, к духовному уничтожению самого себя и потере собственного имени.

Отдав в руки рвущегося к власти Джако свое имение, возможность распоряжаться людьми, Теймураз устраняется от активной жизненной позиции, от критического отношения к Джако, принимая его за одного из тех, кто установил новую власть. Нодар Мгалоблишвили, необычайно убедительный в роли Теймураза, сумел показать, как беда князя — непрактичность, неумение бороться за свои убеждения — превращается в его вину: нежелание отвечать делом за все происходящее.

Режиссер и актер, каждый своими средствами, раскрывают трагические последствия безответственности героя, его добровольного нравственного падения, отразившегося прежде всего на судьбе княгини Марго (Н. Чиквинидзе).

Приспосабливаясь к новым условиям, Марго превращается в униженную служанку Джако. Самоустранение, как и приспособление, — пагубны, ибо, не сумев принять труд, кровь и грязь перевернутого революцией бытия, Теймураз и Марго допустили таким образом пусть и непродолжительное (как мы это теперь знаем), но страшное по своим историческим последствиям торжество низкого и своекорыстного Джако.

Чхеидзе показал причастность каждого к происходящему, сложную, опосредованную, но неразрывную связь человека со временем и историей. Как маятник неумолимого времени, как судья-история, раскачиваются на сцене качели (сценография Георгия Алекси-Месхишвили). Они возносят и низвергают, расставляют все по своим местам. И весь спектакль воспринимается уроком прошлого, живого в памяти находящихся в зале, наказом жить по законам активно деятельного добра, недопущения зла в нашу судьбу и историю.

Подобно Темуру Чхеидзе, и другие современные художники, не регламентированные выбором жанра, героя, способом эстетической оценки, получают широкое эстетическое «дыхание», полнее себя реализуют, соединяя крайности, пытаются ответить на сложные вопросы бытия и раскрыть реальную противоречивость общественного развития.

Инга БАХТАДЗЕ

Культурологическая концепция Ильи Чавчавадзе

НАША современность приобрела одну примечательную особенность — тяготение к новой расстановке акцентов на культурные ценности, приводящее, в конечном счете, к качественно новым культурологическим установкам. В этом смысле, как очевидно, особо значимой стала разработка понятия «периферийности» культуры в общей картине мира, понятие, подрывающее основы европоцентризма критериев культуры вообще.

История к этому шла медленно, осторожно экспериментируя и анализируя. Но было бы ошибкой, как это обоснованно утверждают некоторые исследователи, считать, что европоцентризм исчерпан, «разорен». Ведь не случайно, а по объективным причинам, самые антиевропоцентристские старания не раз впадали в парадокс «европоцентризма наоборот».

Как видно, проблема эта остается теоретически сложной, особо нуждающейся в специальных методологических разработках.

Бесспорное значение для этого имеет знание различных идейных традиций, которые можно рассматривать с точки зрения преемственной динамики. Именно такой видится культурологическая концепция И. Чавчавадзе.

Отправной точкой этой концепции является принцип типологизации культур, а следовательно, идея отдельных, самостоятельных феноменов, исторически формировавших собственный тип культуры. Этот принцип уже по сути своей противопоставлялся всем основным европоцентристским по своему содержанию теориям культуры современной Илье Чавчавадзе эпохи. Насколько всесторонне и глубоко он знал социологические теории современности и то, что собственно его идеи являлись плодом их критического освоения, явственно показывает даже поверхностный анализ всей его публицистики. Подразумеваются, в первую очередь, социологические апелляции позитивизма, широко захватившие европейское мышление эпохи. Начиная, в частности, с Огюста Конта, стремящегося открыть «социальную физику», которую он назвал «социологией», Герберта Спенсера, создателя так называемой «органической теории» общества, согласно которой жизнь общества подчинена биологическим законам, позитивизм в культурологических концепциях оставался мировоззренческой основой. Оставался даже у тех, кто и в дальнейшем свои культурно-исторические идеи развивали, опровергая линию Конта и Спенсера. Оставалось доминирующим виталистическое понимание законов развития общества, создавая тем самым необходимость биологизаторских построений в культурологии, как и в социологии в целом¹.

Грузинская общественная мысль целенаправленно изучала, особенно начиная с 60-х годов прошлого столетия, эти идеи и многие из них воспринимала в целях уяснения общественных процессов в самой грузинской действительности. Бокль, Дреппер, Лебок, Конт, Спенсер являлись активными «возмутителями» мысли грузинской интеллигенции. В этом смысле весьма примечателен и факт создания в 70-х годах в Швейцарии грузинской просвещенной молодежью общества «Иго», целью которого было распространение на Кавказе социологических идей Европы. Именно Н. Николадзе (в общество входили также Г. Церетели, С. Месхи) организовал тогда в Париже издательский орган общества «Дроша» («Знамя»)².

Разделял ли И. Чавчавадзе основные постулаты этих теорий и как? — Отвечая на этот вопрос, попытаюсь показать содержание его культурологической концепции.

Почему выдвигая И. Чавчавадзе идея исторических ти-

¹ И. Кон. Позитивизм в социологии, Л., 1968.

² В. Гагоидзе. Очерки истории развития философской и социологической мысли в Грузии XIX века. Тб., 1971, на груз. яз.

пов являлась противопоставлением европоцентристским культуртеориям, явствует из конт-спенсеровских схем так называемого «линейного развития». Согласно этим схемам, человеческая культура эволюционирует, последовательно проходя прямолинейную стадильную протяженность. Как, например, «трехстадийную» протяженность: 1. Теологическую; 2. Метафизическую; 3. Позитивную, или реальную, стадию. Моделью такого развития является исключительно европейская культура. Отступление от этого пути означало недоразвитость, неспособность культуры.

И. Чавчавадзе как бы разрушает эту европоцентристски ориентированную схему, предлагая воспринимать картину мировой культуры как систему, сложенную из различных самостоятельных культур-исторических типов, считая это доказуемым и посредством их сравнительного типологического изучения. Эту интеллектуальную операцию сам же он блистательно проводит на примере типологизации музыкальных культур западноевропейской и восточной (конечно же, в общетеоретическом плане).

Эта концепция являла собой идейное новаторство времени, смелое и в корне раскрепощенное. Европоцентристская позиция, закрепленная авторитарностью гегелевского положения, — восточное мышление должно быть исключено из истории философии, — начинала испытывать непризнание.

В этом «бунте» И. Чавчавадзе не был тогда ни первым, ни единственным. Положение духовного отца нации, к сожалению, не позволяло ему оформлять свои идеи в специальные теоретические системы. Он излагал их в полемических суждениях на страницах периодики, или просто в очерковых штудиях.

Как нам известно, в тот период деятельности Ильи Чавчавадзе единственным из его современников, кто поставил своеобразную альтернативу европоцентризму, был Николай Яковлевич Данилевский, русский социолог и естествоиспытатель, занимавшийся исследованием проблем социологии культуры. Его книга «Россия и Европа», изданная в 1871 году, принесла ему особую популярность, обозначив следующий этап критики «линейной теории» развития и противопоставив ей концепцию «локальных цивилизаций». Тем самым подрывался европоцентризм, поскольку его критерии подвергались сомнению. Так начала прокладывать себе дорогу концепция «локальных культур», провозвестником которой, как видно, является Н. Данилевский. Затем, уже в 20-е годы XX века выступает Шпенг-

лер со своим «Закатом Европы», за ним — Тойнби и Питирим Сорокин.

Был ли знаком И. Чавчавадзе с концепцией Н. Я. Данилевского, трудно сказать, но вполне можно предполагать, что был. Во-первых, идейное брожение русской мысли той поры было близко грузинской интеллигенции, более того, Грузия принимала в нем своеобразное участие. Например, тбилисская русская пресса постоянно следила за теми философскими битвами, в которых скрещивались взгляды Михайловского, Кареева, Южакова, Лесевича. Некоторые из них, приезжая в Тбилиси, непосредственно сотрудничали в местных изданиях. Лесевич, к примеру, печатался в «Кавказе»³. К тому же, Н. Данилевский слишком хорошо был известен еще с момента его ареста по делу петрашевцев, не говоря уже о том, что позднее он жил в Тбилиси, где и скончался в 1885 году.

Но главное доказательство все-таки содержится в суждениях самого И. Чавчавадзе, которые имплицитно отражают критическое отношение к идее культуртипов Н. Данилевского, вскрывая полную методологическую противоположность внешне схожих постулатов обоих мыслителей.

Ярко отмечены внешним сходством в особенности заглавные формулировки, альтернативные европоцентризму. Достаточно привести соображение Н. Данилевского: «Каждая культура появляется, развивает свою собственную морфологическую форму, свои собственные ценности, чтобы таким образом обогатить общечеловеческую культуру» (здесь и далее приводимый материал дается в моих свободных переводах на русский язык из книги Н. Данилевского «Россия и Европа», изданной на немецком языке в Зап. Германии в 1965 году).

Интересен пассаж закона № 3 (из 3-й главы книги — о некоторых закономерностях развития культурно-исторических типов): «Основные принципы одного культурно-исторического типа не переносятся на другие народы, каждый тип создает свою собственную культуру». И еще пункт «закона»: «Народ должен быть политически независимым, если его потенциальная культура действительно должна войти в жизнь и должна развиться».

Да, сходство, кажется, бесспорно налицо. Но каков ход мыслей к достижению цели, которая фактически и дедуцирует все слагаемые суждений в целом?

По «законам» (пункт 5) Н. Данилевского, культурно-исто-

³ См. В. Гагоидзе, названная книга.

рический тип в своем развитии неизбежно должен исчерпать себя, погибнуть, уступив место другому. Таков закон схемы — юность, зрелость, старость, смерть. Итак, ход истории, выразившийся у Н. Данилевского в смене вытесняющих друг друга культуртипов.

Уже само по себе понимание исторического процесса у И. Чавчавадзе в корне отвергает интерпретации Н. Данилевского: история для И. Чавчавадзе — это прежде всего движение в сторону бесконечного обновления, процесс, который одновременно, «пожиная сегодняшнее, сеет будущее»⁴ (здесь и далее цитаты из И. Чавчавадзе приводятся в моих переводах).

Отсюда исходит и последующий момент отрицания идеи старения и смерти культуры. «Интенсивная жизнь» культуры «является мощным остовом существования, она же источник неисчерпаемой силы, и она же — щит для борьбы»⁵. Если так, то как же общество может прийти к немощной старости? — ставит вопрос И. Чавчавадзе и как бы дает окончательный ответ пункту 5 «законов» Н. Данилевского, по которым неизбежная смерть культуры объясняется по аналогу «жизненного пути растения». «Растение плодоносит и умирает, — пишет И. Чавчавадзе, — но не для того, чтобы умереть, исчезнуть навеки, а для того, чтобы из созревшего своего семени вынести новую поросль, и так до бесконечности, как само бессмертие».

Эта мировоззренческая основа И. Чавчавадзе закрепляется его же весьма важным заключением: «Мы сами не можем во всем согласиться со Спенсером, например, с учением так называемой «органической теории». Нет, мы противники этой теории».

Как очевидно, уже по другому высвечиваются и идейно-содержательные корни подходов к европоцентризму обоих мыслителей.

Если Н. Данилевский, квалифицируя десять культурно-исторических типов по принципу их «исторической исчерпаемости» (это типы египетский, китайский, еврейский, к этому ряду относящийся также и европейский), предоставляет шанс на перспективность исторического существования одному лишь славянскому как качественно новому типу, то дальнейшие наши анализы излишни. Ясна цель, дедуцирующая все слагаемые

⁴ И. Чавчавадзе. Полн. собр. соч., т. V, с. 239—240.

⁵ И. Чавчавадзе. Соч., т. II, с. 318.

суждения Н. Данилевского, его «антиевропоцентризма» Ради
опять-таки «центризма».

Мировоззренческая основа концепции И. Чавчавадзе диаметрально противоположна и «антиевропоцентризму» О. Шпенглера, морфология культуры которого подрывала линейную теорию, выдвигая его наряду с Н. Данилевским в качестве основоположника теории локальных цивилизаций (о концептуальном сходстве О. Шпенглера с Н. Данилевским говорится немало, хотя генетическая их связь не доказана).

У Шпенглера мы видим ту же формулу: «Я вижу на месте монотонной картины однолинейной мировой истории... феномен множества мощных культур... каждая из которых придает своему материалу, человеческой природе, свою собственную форму, каждая из которых обладает своей собственной идеей, своей собственной жизнью, волей, манерой воспринимать вещи, своей собственной смертью»⁶.

Так же, как и Н. Данилевский, Шпенглер отождествляет культуру с исторической формой жизни — рождением, детством, молодостью, зрелостью, разрушением, что делает его доктрину «методологическим коррелятом витализма в биологии»⁷.

Шпенглер, относя европейскую культуру к гнущемуся, отмирающему типу культуры (что в корне подрывало европоцентризм, как то сделал и Н. Данилевский), квалифицирует причины гибели, заката. Именно в этих квалификациях и содержится суть шпенглеровского «антиевропоцентризма». Главные причины заката он усматривает в рационализме, техницизме, в развитии больших городов, демократизме и космополитизме в мировоззрении, в утверждении прав человека и любви к ближнему, в целом воспевании гуманизма⁸. Не зря идеи эти, высказанные в его книге «Закат Европы» и восходящие к Ницше, стали во многом исходными для фашистского нацизма (хотя сам Шпенглер не признал фашизма).

Неевропоцентризм И. Чавчавадзе в немалой степени обуславливался идеей равенства слагаемых человечество культур. «Антиевропоцентризм» гуманиста и демократа утверждался

⁶ Цит. приводится по кн.: *Философская энциклопедия*, М., 1970, т. 5.

⁷ Там же.

⁸ *Philosophenlexikon, Autorenkollektive unter Leitung von E. Lange und D. Alexander*. Dietz-Verlag Berlin 1982.

также в защитной позиции восточной культуры от дискредитирующих ее взглядов.

Защищая достоинства восточной музыки, низводимой до примитивной культуры европоцентристски ориентированной интеллигенцией, И. Чавчавадзе категорически отрицал подход к культурам с оценивающей меркой «лучше-хуже». «Не думаем, — писал он, что одна из них (европейская или азиатская. И. Б.) одолеет когда-нибудь другую и заставит уступить ей дорогу; азиатская музыка по-прежнему будет идти своим путем, так же, как всегда шла по своему европейская»⁹.

Предвидение И. Чавчавадзе оправдалось — сегодня ведется серьезный разговор о консолидации искусства Востока и Запада с позиции эстетики в целом. Это убедительный аргумент высоких художественных достоинств искусства Востока. И разве только художественные интересы обусловили поворот Европы «лицом к Востоку». Немалую роль в этом сыграли социальные и нравственно-психологические причины. Ведь не зря многое из восточной философии стало для Европы «точкой особого притяжения». Так, например, чрезвычайно живительным оказался столь необходимый Европе мотив «последовательного неконформизма, не допускающего расхождения в истине разума и истине действия»¹⁰. Иначе не нашли бы в этом восточно-философском мотиве своего вдохновения, духовного наития ни величайший из гуманистов нашего времени Альберт Швейцер, ни Сэлинджер, ни Матисс, ни Густав Малер, ни многие другие.

И. Чавчавадзе с прогрессивной мировоззренческой высоты прозрел это еще тогда, когда европоцентризм критериев казался неизбежным.

Все вышеизложенное является еще одним подтверждением правоты современной науки в ее борьбе за выявление мощных пластов мысли в наследии прошлого.

⁹ И. Чавчавадзе. Соб. соч., т. V, с. 147.

¹⁰ Е. В. Завадская. Восток на Западе. М., 1970. с. 4.

«НЕЗАПЕЧАТАННЫЕ ПИСЬМА»

ТАК уж сложилось в непростой истории нашей критики второй половины двадцатого века, что хвалить посредственные и даже плохие стихи оказалось легче, чем хорошие: две-три сентенции, уйма комплиментов, несколько застенчивых замечаний для «объективности» и... готово. Изменились времена, изменилась поэзия — все стало сложнее. Сложнее поэтам, критикам, литературоведам. Единственно кому легко — читателю. Он, не кривя душой, покупает, или... не покупает.

Есть в книжном магазине самообслуживания специфический угол, развал, где залежались поэтические сборники, внешне — пестрые, нарядные, веселые, а на самом деле — несчастные, как засидевшиеся в невестах перезревшие девицы. Посетителей здесь мало, они особые: полистают, поморщатся и уйдут. На этот раз, полистав, уходили с тоненькой белой книжечкой. Один, другой... Поинтересовался книжечкой и я: Тбилиси, издательство «Мерани», 1988, «Незапечатанные письма», Наталия Соколовская. Имя ничего не говорит. А стихи?

Соловей в Сололаках поет,
 и акация благоухает.
 Я забыла, что это бывает.
 Но бывает. Всю ночь. Напролет...

И еще:

Больница — ведь это не медперсонал,
 который сопутствует каждой больнице,
 а те, кто ночами в подушки рыдал
 и думал, доколе же это продлится?..

Незнакомый голос. Откровенный. На пределе, до боли.
Только так ведь и пишутся стихи.



Дорога. Ночь. Прямая речь,
переходящая границы.
И время нервы побережь
да нету сил остановиться.
Лимит добра давно иссяк,
как ночь по капле иссякает.
И бесконечный товарняк
нам перспективу отсекает.
Тот, кто затеял, сам не рад.
Сурово смотрит проводница.
И мрачное «кто виноват?»
ко брату обращает брат.
И в полутьме белеют лица...

Что за «письма»? Здесь и письмо протопопа Аввакума царю Алексею Михайловичу, и письма из коммунальной квартиры, и горькие письма в больницу, письмо к тем, «кто письма чужие читают, исходя вожделенно слюной» и...

Я ночью вспомнила о смерти
и тесной сделалась кровать.

Смерть

шла

ко мне

письмом в конверте,

который страшно открывать...

Не беда, что в двух-трех стихах есть инверсии, привычные для «ахмадулинской» женской поэзии.

Почтовый мой принес дурные вести.

И тяжелела сна мучительная гроздь.

И увидала я, охваченная дрожью,

как в комнату входил

высокий запах лип...

Что сакраментально женские заверения в любви — «ведь со мною впервые такое», — будят столь же сакраментальную мужскую недоверчивость читателя. Это манера, но все же не манерность. Хуже — прописные истины, ложные открытия вроде:

Все те, кому дано любить,
останутся в веках,
удерживая жизни нить
в немеющих руках.



Но их немного. Гораздо значительнее открытия настоящие. Это такие стихотворения, как «Долго ли буду...», «Оглушая сновторным сознание...» Их больше. И самое большое открытие — сама Наталия Соколовская, поэт. Не «молодая поэтесса». Поэзия не признает послаблений. Поэт есть, или... его нет.

Так о чем же речь в «Незапечатанных письмах»? Вот, оказывается, о чем: «Незапечатанные письма» — книга лирическая по своей сути. Но ее сюжет включает в себя и осмысление исторических фактов, и раздумья о жизни», — читаем в аннотации. Но суть поэзии способна раскрыть лишь сама поэзия. Поэзия Наталии Соколовской не нуждается в этикетках.

Владимир ПРОСТОСЕРДОВ



Надежда ДИМИТРИАДИ

П. И. Чайковский и грузинская музыкальная культура

ПЕТР ИЛЬИЧ Чайковский много путешествовал по странам Европы. Бывал он и в Передней Азии, и в Америке. Но, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что впечатления его от посещения Грузии и пребывания некоторое время на ее земле были одними из самых значительных и теплых. «Под знаком» этих впечатлений и удивительной привязанности к грузинской природе, своеобразию жизни и быта Тифлиса, не раз отмечаемой самим композитором, оказывается и его творчество, и эпистолярное наследие, и дневники Чайковского, относящиеся к последнему десятилетию его жизни. Такой же неизгладимый след оставили его приезды в 1886—1890 гг. (особенно, первый и последний) и в культурной жизни грузинского общества, найдя свое отражение как в прессе тех лет, так и в воспоминаниях современников. Поэтому тема — П. И. Чайковский и Грузия закономерно привлекает внимание исследователей жизни и творчества композитора. Советскими музыковедами был создан ряд книг и статей, освещающих те или иные стороны или факты пребывания Чайковского на Кавказе,

в Грузии. Но, как оказывается, тема эта еще далеко не исчерпана.

Войдя в культурную жизнь Грузии последней четверти XIX в. вначале «заочно», музыкой своих сочинений, Чайковский, появившись в Тифлисе, естественно вписывается в культурную действительность столицы. Его встречают как выдающегося представителя русской музыкальной культуры, опыт становления которой был отличным примером для подражания при решении насущных проблем возрождения и развития собственной музыкальной традиции. Известно, что в этом сложном процессе энтузиасты-грузины были не одиноки. Их поддерживали многие русские музыканты, приложившие свои большие или малые бескорыстные усилия к многотрудному делу становления музыкального просвещения и композиторского профессионализма в Грузии. Одним из них, несмотря на краткость пребывания на грузинской земле, является П. И. Чайковский, увидевший Грузию не просто взором восторженного путешественника, а глазами человека, сумевшего постичь и в определенной степени откликнуться на проблемы, волнующие общественность края.

Общезвестны и неоднократно прослежены факты приездов и пребывания Чайковского в Тифлисе, Батуми, Боржоми, Кахети. Много раз цитировались слова и мысли композитора, связанные с его пребыванием на Кавказе, указывались лица, с кем он общался, произведения, над которыми работал в Грузии, или же замыслы, которые обдумывались им здесь. Отмечая восторг Чайковского, влюбленного в край, «богатый всякими художественными стимулами»¹, высказывая разного рода суждения, в основном неодобрительные, по поводу характера использования им мелодии «Иавнана» в балете «Щелкунчик», упоминая с благодарностью о его участии в деле завершения постройки Тифлисского оперного театра, говоря о его интересе к грузинской музыке вообще, в отдельных статьях и работах о Чайковском в Грузии исследователи иногда выражают сожаление, что композитор все же недостаточно смог изучить грузинскую народную музыкальную традицию. Вернее, не мог этого сделать по причине того, что был далек от демократически активно настроенных представителей грузинского общества. Но таким ли уж поверхностным было его знакомство с грузинской музыкой?

¹ Чайковский П. И. Полное собр. соч., т. XVI а, М., 1978. Письмо от 7/VII—1891 г.

Чайковский, посетивший Грузию в 1886—1890 гг., в общей сложности прожил здесь около пяти месяцев. Это очень небольшой срок для того, чтобы создалась реальная возможность встречи и завязывания отношений с левым крылом грузинской общественности, не входившей в окружение его брата Анатолия, служившего в Тифлисе, к которому и приезжал композитор в гости. Скорее достойно удивления то, что и без этого контакта Чайковский достигает немало.

Если учитывать конкретную историческую и политическую обстановку Грузии того периода, борьбу передовой музыкально-эстетической мысли за выяснение культурного типа грузинской музыкальной традиции и поисков её дальнейшего развития², а также начальный этап научного постижения и осмысления выдающихся достижений многовекового функционирования национального многоголосия, то можно утверждать следующее. Несмотря на трудности объективного порядка, Чайковскому, пожалуй, удастся составить достаточно определенное представление об интересующем его предмете. Ведь не случайно же, по крайней мере, в восьми сочинениях композитора весьма ощутимы его впечатления от народной музыкальной традиции Грузии и шире—Кавказа³. А получить необходимые сведения Чайковскому было совсем не просто.

Во второй половине XIX в. исконно грузинская народная музыка оказывалась как бы обособленной, бытуя в деревне. Что же касается городского фольклора, то он, постоянно испытывая активное воздействие других музыкальных традиций, оказывая, в свою очередь, влияние и на них, не мог дать полного и верного представления об особенностях грузинской народной песни. Кроме того, и городской фольклор, и культовые грузинские песнопения в этот период нередко оказывались объектом притеснения со стороны официальной администрации и церковного руководства. Тем самым доступ к своему на-

² См. подробнее о перипетиях идейной борьбы «шестидесятников» во главе с И. Чавчавадзе за формирование национальной музыкальной школы и развитие её в фундаментальной монографии И. Бахтадзе «Из истории грузинской музыкально-эстетической мысли» (вторая половина XIX в.), Тб., 1986, касающейся и этой проблемы среди ряда других.

³ См. об этом в статье Х. Аракелова «Грузинские истоки в музыкальных темах П. Чайковского», излагающей интересные наблюдения стилевых проникновений грузинской музыкальной традиции в творчество композитора.

циональному музыкальному достоянию оказывался затрудненным даже для грузинских исследователей.

В это же время определенная часть грузинской интеллигенции делала смыслом своей жизни возрождение национальной культуры (музыкальной в том числе), прилагая героические усилия, чтобы противостоять её дискредитации, а другую часть общества составляли люди либо инертные, либо скептически относящиеся к национальному духовному достоянию.

В такой ситуации позиция, занятая Чайковским по отношению к народной музыкальной традиции Грузии, говорит сама за себя. Прежде всего, едва соприкоснувшись с благодатным краем, с его культурой, он, сразу же ощутив ее значительность, пытается в рамках имевшегося времени и источников информации пополнить свои знания, как всякий любознательный человек и ищущий художник. Начав со знакомства с историей Кавказа, о чем свидетельствует дневниковая запись от 3/VI 1886 г., Чайковский в поисках записей музыкального фольклора Грузии обращается к шести обработкам грузинских народных песен для голоса и фортепиано и двух лезгинок, предложенных ему Ипполитовым-Ивановым. Рукописный сборник, принадлежавший известному поборнику становления музыкального профессионализма в Грузии и подаренный им Чайковскому, сохранился в архиве композитора. Видимо, Чайковский не раз обращался к нему в поисках обогащения музыкального языка своих сочинений, иначе, высоко оценивая информативную значимость собранного фольклорного материала, композитор бы не хлопотал об издании обработок Ипполитова-Иванова перед Юргенсоном еще в 1886 г.⁴ И хотя публикация не состоялась, сам факт знаменателен.

Говоря об интересе Чайковского к грузинской народной музыке, можно утверждать, что пробудился он задолго до первого приезда композитора в Тифлис. Свидетельство тому — появление уже в отдельных его произведениях 70-х годов оборотов грузинских народных песен и ритмоинтонаций лезгинки. Следовательно, либо до того, либо в этот период Чайковский располагал необходимым ему источником информации. Думается, в этом плане определенный свет проливает недавно обнаруженный факт общения и встреч П. Чайковского и И. Чавчавадзе в доме отца будущего композитора в 1859—1860 гг. Будущий выдающийся писатель, поэт и обществен-

⁴ См. Чайковский П. И. Полное собр. соч., т. XIII, М., 1971, письмо 3011 от 23/VII—1886 г.

ный деятель, а тогда студент-правовед, увлеченный сестрой Петра Ильича Александрой, не раз бывал в их семье, сопровождаемый близким другом К. Абхазы. Они вполне могли оказаться первыми, кто познакомил Чайковского с грузинской песней. Годы учебы в консерватории обогатили молодого музыканта дружбой с Х. Саванели, безусловно знавшим грузинский фольклор и способным продемонстрировать отдельные его образцы своему коллеге. Дружеские отношения с Саванели, уже известным музыкальным и общественным деятелем Грузии, возобновились спустя двадцать лет, по приезде в Тифлис.

В бытность композитора там он общался также с друзьями и знакомыми брата, особенно с музыкантами — пианисткой и композитором В. М. Амираджиби, виолончелистом И. Ф. Сараджевым, инженером и скрипачем-любителем И. З. Андроникашвили. К этому списку можно добавить также имя некоего Бакрадзе, по нашим наблюдениям, дважды упоминаемого в дневнике 1887 г. и запомнившегося композитору, судя по записи, в связи с дирижированием этим музыкантом попури из «Евгения Онегина», вероятно, в каком-то концерте на открытом воздухе. Остальную часть окружения Анатолия Ильича Чайковского составляли чиновники, представители местного дворянства и богатого купечества, театральной и музыкальной общественности — люди в основном русского или армянского происхождения, вряд ли способные пополнить уже имеющиеся у Чайковского сведения о грузинской музыкальной традиции.

Поэтому, черпая необходимые впечатления из бытового музицирования Тифлиса той поры, ощущая их недостаточность, Чайковский все время искал среди знакомых брата кого-нибудь, кто бы смог со знанием дела и по возможности исчерпывающе посвятить его в специфику и своеобразие грузинского светского и культового многоголосия. Таким информатором для композитора, наконец, становится в 1890 г. З. Чхиквадзе, известный впоследствии фольклорист и музыкант, предоставивший в распоряжение Чайковского уже не обработки, а подлинные записи фольклорного материала. Однако едва наметившийся контакт со знатоком грузинского светского и культового многоголосия не получил, к сожалению, своего дальнейшего развития. Чайковский в Грузию больше не приезжал.

На основе сохранившихся дневников за 1886, 1887 и 1889 годы и писем периода 1886—1890 гг. становится очевидным, что несмотря на то, что Чайковский приезжал в гости к близ-

ним людям, в первую очередь, чтобы пообщаться с ними и отдохнуть, он продолжал трудиться. В сознании композитора, как оказывается, постоянно шел творческий процесс, совершалась работа по крайней мере над десятком произведений независимо от того, был ли это момент обдумывания замысла, начальных эскизов, собственно создания музыки или завершения сочинения. Времени праздного, естественно, оставалось мало.

Опуская широко известные и часто цитируемые описания грандиозного чествования (кстати, самого первого в его жизни) Чайковского 19 IV 1886 г. и большого авторского концерта 20 X 1890 г., обратимся к менее известным фактам его пребывания в Грузии. Помимо посещения оперных или драматических спектаклей («Жизнь за царя» — 22 IV 1886 г., «Мазепа» 25 IV 1886, «Дикарка», с Савиной — 3 VI 1887, любительский спектакль в Артистическом кружке «Гений Хранитель» — 17/22 IV 1889, «Фауст» — 21/3 IV 1889), Чайковский выкраивал время для визитов к Ипполитову-Иванову, у которого слушал новые сочинения хозяина дома (романсы, симфониетту, песни — 7 IV, 28 IV 1886), для знакомства с другими сочинениями, а также композиторскими опытами Г. Корганова, принимая обоих у себя и комментируя их творческие достижения (II IV 1886). Он ухитрялся найти также время для музицирования в 4 руки с Ипполитовым-Ивановым (20/2 IV 1889) или для прослушивания своих романсов в исполнении В. Зарудной дома у певицы (30/12 IV 1889), для посещения концертов музыкального общества (гастролеры Эл. Терьян — 22 IV 1889, Чези и Барби — 16 IV 1886), сольных или классных концертов педагогов училища (И. Сараджева — 23/5 IV 1889, Э. Эпштейна — 20 IV 1886), торжественного акта в женской гимназии (16/28 IV 1889), для благотворительного концерта в пользу приюта для детей ссыльных (1886), для выставки рукоделий (17/24 IV 1889), для посещения квартетных вечеров в доме И. Андроникашвили (26/8 IV 1889) и даже для участия в любительском спектакле в доме Председателя Тифлисской судебной палаты С. С. Гончарова, аккомпанируя брату (24 IV 1886), любителю-скрипачу.

Общеизвестно, что Чайковский был большим любителем народных праздников, гуляний, зрелищ. Он с удовольствием посещал эти шумные сборища, балаганы (1889), цирк (1886) и в Тифлисе.

При этом Чайковский всегда подмечает своеобразие музыкального оформления этих народных собраний, часто фик-

сируя в письмах и дневниках свое внимание на звучании шарманки и особенно голосов зурны и ритма доли, точно витавших в городском воздухе. К ним он прислушивался и из окон своей комнаты, и во время столь любимых Чайковским одиноких прогулок по старым кварталам Тифлиса. Это не случайно. Оказывается, праздное будто бы времяпрепровождение неожиданно оборачивается на деле напряженной, неосознаваемой в тот момент работой мысли композитора. В этом плане весьма интересным выглядит приводимый в одной из работ Б. В. Асафьева устный рассказ Н. Д. Кашкина о беседе с Чайковским по поводу музыкальных впечатлений окружающей его действительности и их роли в творческом процессе композитора. «Люблю бродить по малознакомому городу, а еще лучше по незнакомому, и слушать», — говорил Чайковский. «Слушать говор на незнакомом языке — вот даже без вникания в него, а словно в течение звуков. И запоминать интонацию, темп, ритм... помню, так было и в Венеции, и на Кавказе, даже в Тифлисе. Бродил и слушал. Что? Специально восточную музыку? Нет, не подумай, что записывал. Не люблю изображать из себя искателя народных тем для обработки. Забыться в толпе и гул людской слушать люблю, а там, что выделится и отложится — дело иное»⁵.

Читая письма и дневники Чайковского, нельзя не заметить, что он семнадцать раз упоминает о посещении разных церквей в Тифлисе и Боржоми (Сионского собора, церквей Святого Георгия, Святого Давида, армянской церкви, Ликанского монастыря). Думается, что это не только проявление религиозности композитора. По-видимому, тут имеет место и чисто профессиональный интерес к характеру и уровню местного музыкального оформления службы (грузинского, изгнанного из обихода экзархом Павлом).

Он ищет возможность познакомиться с церковными песнопениями Грузии, что в конце концов осуществляется, но только спустя пять лет. В 1890 г. у него происходит встреча с З. Чхиквадзе, не только подарившим композитору рукописный сборник записей грузинских народных песен и песнопений, но и ответившим на интересующие его вопросы. К сожалению, сборник в архиве Чайковского не обнаружен и о его существовании известно лишь из воспоминаний Чхиквадзе.

Волей обстоятельств композитор ни разу не смог присут-

⁵ Асафьев Б. В. Избранные труды, т. IV, М., 1955, с. 136.

ствовать на концертах грузинской хоровой музыки. Однако интерес Чайковского к ней, подогреваемый теми сведениями, которые он мог получить еще в России от своих знакомых грузин, а также постоянным общением с городским фольклором Тифлиса во время пребывания там, все усиливается. Немаловажное значение имели, вероятно, для композитора записи, полученные от Ипполитова-Иванова и Чхиквадзе, по-видимому, не раз становившиеся объектом его внимания. Во всяком случае, ритмоинтонации грузинской городской песни и танца неоднократно прослеживаются на страницах ряда сочинений композитора. Об этом с позиций детального исследования музыки Чайковского пишет в своей статье Х. Аракелов⁶.

Хорошо ощущая динамизм ритма лезгинки, так верно и мастерски переданной Глинкой в «Руслане и Людмиле», сам используя его, Чайковский, попав в Грузию, особо отмечает каждое свое соприкосновение с этим танцем. В письмах и дневниках тех лет композитор четырежды упоминает о нем, выделяя то обстоятельство, что в ресторане у Куры плясали «Настоящую лезгинку» (9 IV 1886 г.), т. е. не балетную её интерпретацию, известную по двум русским операм («Руслан и Людмила» Глинки и «Демон» Рубинштейна), а подлинный танец, бытующий на Кавказе. В другом месте речь идет о лезгинке на благотворительном балу, которую «очень красиво было смотреть» (17 IV 1886 г.) Даже лезгинка на детском балу в Боржоми (I VII 1887 г.), и та удостоивается фиксации в дневнике композитора. Сюда же можно отнести упоминания о постоянных звуках зурны и барабанов, определявших бытовую музыкальную атмосферу Тифлиса и указывающих на многократную возможность Чайковского слышать и видеть различные варианты этого танца, популярного у всех народов Кавказа. Не отсюда ли берут начало отмечаемые Аракеловым неистовость и блестящий характер вариаций Фей Золота из «Спящей красавицы» (1839), рождающие прямые ассоциации с грузинским «Картули»? А ведь эти страницы создавались как раз в Тифлисе. Да и в начальной теме баллады «Воевода» (1891) слух улавливает ритмообороты лезгинки, впитавшей в себя помимо грузинских, по мнению Аракелова, черты, характерные и для других народов Кавказа.

⁶ Аракелов Х. А. «Грузинские истоки в музыкальных темах П. И. Чайковского» — Сб. Пути интернационализации музыкальной культуры. Русско-грузинские музыкальные связи. Тб., 1984, с. 207.

Животворное влияние бытовой музыкальной атмосферы Грузии проявляется и в хоре «Ночевала тучка золотая», сочинённом композитором 5 июля 1887 г. в Боржоми. Судя по дневниковым записям от 2-го и 3-го июля, Чайковский был вынужден, уступая настойчивым просьбам учителя хорового пения Второй гимназии О. М. Вольшевского, приступить к работе над этим произведением. Но даже раздражение против назойливого просителя и недовольство своей уступчивостью не помешало композитору выйти из-под обаяния окружающей его грузинской действительности. Поэтому в партитуре хоровой миниатюры⁷ оказываются столь ощутимыми обороты «Ахал агнаго суло» — грузинской песни, в свое время очаровавшей Грибоедова, Пушкина и Глинку. Природа Боржомского ущелья с его живописными скалами и утесами и пластика стихов Лермонтова, по-видимому, заставили Чайковского искать конкретной музыкальной ассоциации, от которой можно было бы оттолкнуться в своем творческом импульсе. И ею становится не раз слышанная мелодия, по своему происхождению и образному содержанию связанная с Грузией, а значит необходимая для конкретного воплощения музыкального образа и придания ему локальной достоверности.

Если Чайковский столь внимателен к воспроизведению определённого колорита, используя лишь отдельные обороты известного образца грузинской городской традиции, то что же заставляет его совершенно по-иному подойти к грузинской колыбельной «Иавнана», не оставив при обработке её ничего от образного содержания оригинала? Включаясь в спор о том, допустима ли подобная авторская интерпретация, думается, надо отталкиваться в своих суждениях от двух моментов. Во-первых, Чайковский, создавая музыку к «Щелкунчику», жил и действовал в конкретных исторических условиях определенного уровня знаний и представлений, в частности, о Кавказе и о культуре народов, его населяющих, причислявшихся в тот период, как известно, к Востоку. Во-вторых, Чайковский не мог не считаться с уже сложившимися традициями освоения восточного, а значит и кавказского мелоса в русской музыке. Это с позиций современного состояния науки можно предъявлять композитору иск в некомпетентности использования мелодии грузинской песни (в полном объеме) в качестве основы

⁷ Она долгое время считалась утерянной и, найденная лишь в 1963 г. литературоведом А. Гачечиладзе, была изучена и определена музыковедом Г. Чхиквадзе.

для создания яркой ориентальной страницы, необходимой ему для контрастного сопоставления фрагментов балета. Однако в рамках своей эпохи он ничего не исказил. Более того, Чайковский даже и не думал посягать на своеобразие национальной традиции. Вне всякого сомнения, хоровая многоголосная песня получила бы у композитора иную творческую интерпретацию. Но «Иавнана», сообщенная ему Ипполитовым-Ивановым, одноголосна, а одноголосная мелодия с Кавказа, пусть и грузинского происхождения, должна была вызвать единственную ассоциацию. Стереотип восприятия одноголосной мелодии, относимой к разряду ориентальных, приводит Чайковского к стереотипу её творческого переосмысления, сложившегося на протяжении XIX в. в «русской музыке о Востоке» (Б. Асафьев). Только так возможно объяснить, с нашей точки зрения, авторскую обработку оригинала. Тем более, что композитор на протяжении всей творческой карьеры не раз давал повод для подтверждения своей большой щепетильности и профессиональной честности при работе над каким-нибудь сюжетом, связанным с конкретным народом, эпохой или исторической обстановкой. И еще раз это проявилось как раз на примере общения Чайковского с Грузией, с представителями её культуры. Относясь с неизменной симпатией к этой небольшой стране и её народу, композитор проявляет к Грузии и грузинам то же уважение и любовь, что и ко всему русскому, своему, родному. Иначе бы он не вступился столь горячо за свою авторскую позицию в отношении реализации творческого замысла, связанного с грузинским сюжетом.

Еще раз исследовав эпистолярное наследие Чайковского, нами был обнаружен тот факт, что, оказывается, существовал проект создания оперы на сюжет из грузинской жизни, автором музыки которой должен был стать Чайковский. Феликс Маккар — издатель произведений композитора во Франции и Бельгии — сообщает ему в 1888 г. о намерениях господ Ж. Детруайа и Л. Галле, «людей влиятельных в прессе и Опера»⁸, послать Чайковскому либретто под названием «Грузинка» с просьбой прочитать его и ответить, примет он или отвергнет его»⁹. Далее Маккар советует Чайковскому отнестись к предложению со всей серьезностью, т. к. спектакль с его му-

⁸ Ж. Детруайа и Л. Галле — известные литераторы и либреттисты ряда французских опер.

⁹ Чайковский и зарубежные музыканты. Л., 1970, с. 158—159, письмо 13 от 9 IV 1888 г.

звонкой мог бы прозвучать на открытии Opera comique или будущего Theatre Lyrique, что явилось бы благоприятным моментом для его утверждения во Франции как музыканта. В своем ответе на письмо Маккара, адресованное в Тифлис. Чайковский пишет: «Мне кажется, что это произведение не подойдет мне ввиду того, что г-н Детруайа имел злополучную идею перенести роман Шатобриана¹⁰ в Россию и даже в Тифлис. Раз уж действие происходит в России, надо, чтобы в нем не было совершенно невероятных вещей, вроде тех, что есть в «Пьере Строгове»¹¹, и я слишком убежден, что г-н Детруайа знает Россию, как я Китай. Что французский композитор способен положить на музыку подобный сюжет — это понятно, но я русский и потому очень озабочен бытовой и исторической правдой, я никогда бы не мог решиться приняться за работу, как бы ни был сценичен и эффектен сюжет Детруайа, если он изобилует историческими бессмыслицами»¹².

К сожалению, письмо Чайковского к Детруайа неизвестно, но характер и тон его, по всей видимости, были весьма суровы, иначе оно не вызвало бы покаянного и сконфуженного ответа либреттиста. Во всяком случае, как композитор, строго относившийся к национальной стилистике своих произведений, как человек, с уважением проявивший интерес к культуре и истории любого народа, Чайковский не мог поступить иначе, особенно если учесть, что в письме Детруайа проглядывает такая снисходительность и пренебрежение, выразившееся в предположении необходимой общности темперамента и культуры между американскими индейцами и грузинами. Такого Чайковский не мог ни принять, ни простить. Ведь это ему принадлежат слова: «никто не может безнаказанно прикоснуться святотатственной рукой к такой художественной святыне, как русская народная песня, если он

¹⁰ Сценарий оперы «Грузинка» был написан Детруайа по роману Шатобриана «Любовь казака и грузинки» — комментарии К. Ю. Давыдовой, И. Г. Соколинской и Н. А. Алексеевой — составителей кн. «Чайковский и зарубежные музыканты».

¹¹ Роман Ж. Верна «Михаил Строгов» («Курьер царя») написан в 1875 г. В 1880 г. инсценировка романа, сделанная Ж. Верном и Денери, с успехом шла в театре Шатле в Париже (из комментариев К. Ю. Давыдовой, И. Г. Соколинской, Н. А. Алексеевой).

¹² Чайковский П. И. Полное собр. соч., т. XIV, М., 1974, письмо 3557 от 27 IV 1888 г.

не чувствует себя к тому вполне готовым и достойным»¹³. Поэтому, чувствуя себя абсолютно достойным и готовым в области родной, русской народной традиции, он, не ощущая в себе таких же знаний и уверенности в грузинской, не мог откликнуться на предложение, что привело бы лишь к псевдостилистике, столь чуждой, а потому и недопустимой для Чайковского.

В этом смысле весьма поучительным выглядит содержание беседы композитора с З. Чхиквадзе, дошедшее до нас в его известных воспоминаниях, опубликованных в журнале «Тэатრი да хеловნэба»¹⁴. Неоднократно делая ссылки на этот источник, разные авторы приводят слова Чайковского, произнесенные им после собственного исполнения ряда народных мелодий, в записи Чхиквадзе. «Как может исчезнуть с лица земли народ, имеющий такие замечательные, отмеченные простотой, стройностью формы и большим чувством многоголосные песни?» — восклицает композитор. Но помимо этого отзыва, заслуживает внимания, пожалуй, вся последующая беседа двух музыкантов. В ней неожиданно приоткрывается ход размышлений Чайковского, общающегося со знатоком грузинской народной музыкальной традиции и одновременно полемизирующего с невидимыми оппонентами, посягающими, по неведению, на авторитет культурных традиций, существующих в Грузии.

Продолжая свою мысль, Чайковский высказывает сомнение: «Неужто эти песни в самом деле выросли из сердца простого народа? Или же только недавно под воздействием современности они из одноголосных превратились во многоголосные?». В ответ он слышит от З. Чхиквадзе, утверждающего, что в представленном сборнике «собраны старинные, древнейшие народные песни, из поколения в поколение передающиеся устно и до самого последнего времени не удостоившиеся быть записанными нотами. А между тем из песен в этом сборнике: такие, как «Вай, шен чемо тэтро бато», «Окрос диэло», «Сацкалса глехса» и другие, донес к нам народ от времен язычества, от третьего или второго столетия, а может, и еще от более раннего периода».

Пораженный словами своего информатора, Петр Ильич

¹³ Цитируется по книге Ш. С. Асланишвили «П. И. Чайковский в Грузии». Тб., 1940.

¹⁴ „თეატრი და ხელოვნება“, 1915, №№ 2, 8, 11 и 12 (русский текст, предлагаемый в статье, дан в переводе И. Бахтадзе и Н. Димитриади).

«удивлялся, как простой люд, лишенный света просвещения, все же создавал подобные развитые трехголосные песни». С волнением, видимо, имея в виду какие-то конкретные мнения, он заключает свою мысль: «Разве после этого о таком народе можно сказать, что он лишен всякой культуры и таланта?». «Что поделаешь, сударь? — отвечает З. Чхиквадзе. — Так обычно бывает, когда о каком-либо народе, его прошлом и настоящем не знают ничего. А когда ищущий истину говорит с чужих слов, то возникает нечто неправдоподобное. Более того, если ненавидят какой-то народ или частное лицо, то в таком случае, зная даже о них, скорее скажут худое». На эти слова Петр Ильич улыбнулся: «Знаете, что я Вам скажу? Тот народ, который живет в стране со столь благословенной Богом природой, не может не петь так сладко. В вашем краю все поет и смеется — солнце, луна, звезды, птицы, животные, леса и поля. Здесь, как мне кажется, столько предпосылок и благодатного материала, что живи здесь истинный служитель музыкального искусства, он бы смог написать немало опер», — заключает свою мысль композитор.

Далее, как явствует из текста воспоминаний, Чайковский, в ответ на предложение Чхиквадзе пожить подольше в Грузии, с целью лучшего изучения её песен и песнопений, выразил горячее желание осуществить этот план в будущем, а затем, по словам мемуариста, композитор потряс его удивительной импровизацией на темы ряда только что предложенных его вниманию грузинских песен, в том числе «Тамар-мепе» и «Мумли мухаса».

Встреча Чайковского с Чхиквадзе имеет также значение и с позиций его интереса к культовой музыке грузин. О ней композитор долго не мог получить исчерпывающих сведений от окружающих его людей, за исключением, пожалуй, Ипполитова-Иванова, уже успевшего сделать запись и переложение ряда песнопений для хора Карбелашвили, прозвучавших в концерте 4 апреля 1889 г. Поэтому рассказ музыканта-грузина и объяснения специфики и многообразия образцов духовной музыки — это, к сожалению, хотя и единственный, но тем не менее значительный момент в творческой биографии Чайковского.

Видимо, он действительно после пяти приездов в Тифлис уже серьезно собирался вникнуть во все детали грузинской музыкальной традиции. И «отголоски» её, которые имеют, как известно, место в музыке композитора, можно расценивать как своеобразный подготовительный момент к реа-

лизации накопленных впечатлений и тех знаний, которые должны были быть приобретены им для создания уже какого-то более значительного опуса.

Те же человеческая щепетильность и профессиональная честность, которые не позволили Чайковскому соблазниться перспективой разменять свой талант на создание псевдонациональной оперы «Грузинка», не разрешают ему, в течение пяти лет наблюдавшему культурную и музыкальную жизнь Тифлиса и принимавшему в ней участие, остаться в стороне, когда должна была решиться, наконец, судьба строившегося много лет театрального здания оперы.

Находясь на отдыхе летом 1887 г. в Боржоми, он, пользуясь возможностью личного знакомства с Александром III и дружескими отношениями с его братом, решается обратиться к царю с просьбой о вмешательстве высочайшей особы в застопорившееся дело. Важность этого шага для композитора не случайно фиксируется 18 июня в его дневнике фразой «Писал письмо государю». И, действительно, большое его послание на имя Александра III заслуживает быть приведенным в полном своем объеме, т. к. оно раскрывает не только силу доводов и аргументов композитора, дипломатично воздействующего на самолюбие царственной особы, но и вскрывает истинное отношение самого ходатая к культурно-музыкальной общественности Грузии того времени.

«Ваше императорское величество!

Всемиловитейший государь, — обращается положенной формулой Чайковский. — Дерзаю утрудить внимание Вашего величества на дело, близко принимаемое к сердцу жителями г. Тифлиса, в среде коих я находился все последнее время. Быть может, Вы, государь, простите мне дерзновение мое, если изволите принять во внимание, что мне как русскому музыканту нельзя не сочувствовать живейшим образом всему, что содействует развитию, распространению и упрочению родного искусства, а обстоятельства, которые я осмеливаюсь довести до сведения Вашего величества, имеют для него большое значение.

В Тифлисе строится на казенные суммы превосходный, величественный театр. В настоящее время здание, вчерне, совершенно готово, остается только отделать его, снабдить всеми нужными приспособлениями и открыть. Существующий в Тифлисе летний, деревянный, маленький и в высшей степени неудобный и на случай пожара опасный театр совершенно не соответствует достоинству такого прекрасного города, как Тиф-

лис, а между тем тифлисская публика, усердно посещающая театр и явно высказывающая тонкую художественную восприимчивость, заслуживает того, чтобы оперные и драматические представления давались для неё на большой и хорошо устроенной сцене. Жители г. Тифлиса с болезненным и страстным нетерпением ожидают счастливого мгновения, когда Вы, государь, среди бесконечных и неисчислимых забот Ваших о благе Ваших подданных, обратите внимание, между прочим, и на тот предмет, по поводу коего я осмелился утруждать внимание Вашего Величества.

Для того, чтобы театр был устроен и открыт, нужна по смете сумма в 235 тысяч рублей серебром (сумма эта будет выдана в распоряжение тифлисского начальства). Чем раньше, тем скорее наступит эпоха процветания русского искусства на далекой прекрасной окраине Вашей.

Быть может, Ваше императорское величество найдете возможным в ближайшем будущем осуществить достойные Вашего милостивого сочувствия вожеления тифлисской публики, и если мой слабый голос отчасти послужит к тому поводом, то я почту себя глубоко счастливым.

Ваше императорское величество! Испрашиваю всемилостивейшего прощения Вашего за дерзость, с которою я осмелился обратиться с настоящим ходатайством моим непосредственно к Вашему величеству.

Имею счастье быть

Вашего императорского величества верноподданным и беспредельно преданным слугой

Петр Чайковский

Боржом, дача кн. Грузинской

18 июня 1887 года¹⁵.

Хлопоты Чайковского увенчались, как известно, успехом, средства были получены и театр достроили¹⁶, о чем в своих воспоминаниях сообщает Ипполитов-Иванов: «Тифлис обязан

¹⁵ Чайковский П. И. Полное собр. соч., т. XIV, М., 1974, письмо 3269 от 18 VI 1887 г.

¹⁶ Строительство было завершено в 1887 г. Первый сезон открылся 3 XI 1896 оперой «Жизнь за царя».

своим лучшим укреплением Петру Ильичу. Без его участия это дело затянулось бы на долгое время»¹⁷.

Общеизвестна роль Чайковского в творческой судьбе многих русских музыкантов и даже отдельных театральных трупп, когда его рекомендация или ходатайство открывали перед ними путь к успеху, месту в престижном театре или отменяли несправедливое решение дирекции и т. д. Не обойдены в этом смысле вниманием и грузинские музыканты. Виолончелист И. Сараджев по просьбе Чайковского получает место педагога в Тифлисском училище, связав свою жизнь и творческую карьеру с культурой Грузии, откуда вышли его предки много лет назад.

Что же касается М. М. Тушмалова (1861—1896), талантливого музыканта-скрипача и композитора по образованию и одаренного дирижера по профессии, то многие перипетии его дирижерского становления оказались связанными с именем Чайковского. Окончив в 1885 г. Петербургскую консерваторию по классу скрипки у Л. Ауэра, Тушмалов продолжал учебу уже по композиции в классе Римского-Корсакова и завершил свое музыкальное образование в 1889 г. Последние два года пребывания в консерватории молодой музыкант сочетал занятия композицией с преподаванием игры на скрипке. В 1888 г. он дирижировал ученическим спектаклем «Опричник» в Петербургской консерватории (18 XII 1888 г.).

Дебют его как дирижера прошел с большим успехом. Об этом свидетельствует письмо Чайковского к главному дирижеру Большого театра в Москве И. К. Альтани, где он пишет следующее: «Некто Тушмалов, окончивший курс нынче весной в Петербургской консерватории, узнал от Направника, что будто бы у вас в Москве требуется для тебя помощник и что, хотя жалованья такому второму дирижеру не полагается, но место это можно получить, если от всякого вознаграждения отказаться. Не знаю, правда ли это? Тушмалов просит меня рекомендовать тебе его. И я это могу сделать с величайшей охотой, ибо под его дирижерством шла прошлой зимой... моя опера «Опричник» и я был в совершенном восторге от оркестрового исполнения. У Тушмалова есть средства к жизни, и, если в самом деле такое место получить ему можно, то ты

¹⁷ Воспоминания М. М. Ипполитова-Иванова (рукопись) хранятся в фондах ГЦ ММК — из комментариев Н. И. Синьковской и И. Г. Соколинской к XIV т. Полного собр. соч. П. И. Чайковского (М., 1974) к письму 3269.

бы увидел впоследствии, что рекомендация моя заслуженная»¹⁸. Хотя это письмо Чайковского не возымело своего действия и Тушмалов не начал работать в Большом театре, как оказыва-
ется, хлопоты композитора о судьбе талантливого молодого музыканта продолжались и далее. Об этом свидетельствует он сам в письме к некому г-ну Туру от 31 X 1894 г.¹⁹. Приводим это письмо, которое пока еще нигде не публиковалось.

«Милостивый государь, господин Тур!

В ответ на ваше извещение от 18-ого октября текущего года имею честь сообщить Вам для доклада Дирекции Санкт-петербургского Отдела Императорского Русского общества причины, по которым я не мог исполнить своего обязательства — уплаты трехсот рублей, выданных мне заимообразно 21 сентября 1890 г. Летом 90-го года я получил письмо от покойного Петра Ильича Чайковского, который просил Прянишникова, антрепренера Киевской оперы, дать мне место второго капельмейстера, на что он согласился, но вместе с тем предложил мне два месяца служить без жалования. Желая практиковаться в дирижировании опер в хорошем театре и надеясь получить по истечении 2-х месяцев жалование, что действительно и подтвердилось, я, не имея собственных средств, обратился с покорнейшей просьбой к Антону Григорьевичу²⁰, который и выхлопотал в Дирекции для меня выше названную сумму, с условием внести при первой возможности, но оказалось, что через два месяца мне дали в Киеве жалованья только 100 рублей, которых не хватало на прожитие и приходилось давать частные уроки, а потому я не мог в то время ничего заплатить. В августе 91-го года я поступил, по рекомендации покойного Петра Ильича, вторым капельмейстером в Варшавский Правительственный Большой театр с содержанием 1500 рублей в год и надеялся уплатить Дирекции свой долг, но вдруг, внезапно, умер мой отец 3-го февраля 92-го года, и я поехал на Кавказ для устройства дел.

¹⁸ Чайковский П. И. Полное собр. соч., т. XVa, М., 1976, письмо 3879 от 18 VI 1889 г.

¹⁹ Письмо хранится в ЛГИА, ф. 361, оп. I, д. 4038 (в личном деле выпускника Петроградской консерватории 1885 г. Тушмалова М. М.).

²⁰ А. Г. Рубинштейну.

Отец не оставил духовного завещания, а потому началось дело о вводе во владение, которое тянулось больше года. Затем имение нужно было заложить в банк для уплаты долгов, что еще не окончилось, хотя обещано адвокатом в октябре — ноябре уплатить всё и привести в порядок. Пробыв на Кавказе один месяц, я возвратился в Варшаву и, пока тянулось дело, должен был уделять из получаемого мною содержания матери и несовершеннолетним братьям и сестрам в продолжении девяти месяцев со дня смерти отца, пока не вышла матери пенсия.

Я же задолжал в театральную ссудо-сберегательную кассу для уплаты всяких пошлин по долгу более 500 рублей и теперь еще плачу ежемесячно.

Как только дело с наследством уладится, немедленно заплачу всю сумму, а пока с марта месяца могу платить по 10 руб. ежемесячно...

Покорнейше прошу Вас доложить Дирекции о вышеизложенном моем отчете и написать мне о решении Дирекции, т. е. возможны ли предлагаемые мною условия уплаты долга.

Примите, милостивый государь, уверения в моем совершенном к Вам почтении и искренней преданности.

М. Тушмалов».

Приведенное письмо является доказательством того, что в творческой судьбе талантливого дирижера из Грузии, как оказывается, принимал, помимо Чайковского, и другой, не менее известный своей музыкальной и общественной деятельностью композитор и пианист А. Г. Рубинштейн. В результате их покровительства Тушмалов с успехом проработал определенное время в театрах Киева и Варшавы, а позже и у себя на родине в Тифлисе. К сожалению, четырехгодичная удачно начатая дирижерская карьера талантливого музыканта была оборвана его ранней смертью.

Факты, свидетельствующие о заботе и хлопотах композитора в деле процветания музыкальной жизни Тифлиса и творческих судеб музыкантов-грузин, характеризуют еще раз Чайковского как одного из представителей передовой интеллигенции России, для которого в равной степени дорог прогресс и русской, и грузинской музыкальных культур.

Гражданственность позиции Чайковского в его отношении к музыкальной традиции Грузии в переломный период её истории приобретает весьма важное значение, обнаруживая при этом, по крайней мере, два положительных момента. С одной сторо-

ны, обогащая свое творчество достижениями иной культуры. Чайковский, совершенствуя собственное мастерство, способствует общему развитию русской музыки. С другой стороны, уважительное отношение и несомненный интерес к грузинской музыкальной традиции и культурной жизни Грузии, высказываемые столь авторитетной личностью, какой был Чайковский, заставляет самих грузин по-новому взглянуть на себя, произвести переоценку ценностей своего духовного достояния. Со всей очевидностью это подтверждает З. Чхиквадзе в своих воспоминаниях, будучи потрясен мастерской импровизацией Чайковского, основанной на темах грузинских песен и открывшей перед ним реальные огромные возможности для новой жизни древней традиции.

Опосредованное проявление такого нового взгляда на собственный фольклор можно, по-видимому, усматривать и в становлении композиторских личностей М. Баланчивадзе и З. Палиашвили, направляемом также другими объективными и субъективными причинами. Нет данных о том, что М. Баланчивадзе и З. Палиашвили были лично знакомы с Чайковским, но первый из них мог быть свидетелем его чествования в 1886 г. в Тифлисе, а второго вполне можно было увидеть среди слушателей на спектакле «Евгений Онегин» и симфоническом концерте под управлением автора, прозвучавших в 1890 г.

Вполне возможно, что эти встречи с маэстро «издали» или рассказы очевидцев об имевших место музыкальных событиях могли стать одним из стимулов подтверждения правильности избранного пути на поприще поиска и изучения собственной народной традиции, культивирования её в концертной деятельности хоровых коллективов, приведших и Баланчивадзе, и Палиашвили, в итоге, к композиторской карьере, нашедшей свое лучшее проявление именно в жанре оперы.

Таким образом, приезды Чайковского в Грузию как представителя русской передовой музыкальной культуры в исторических условиях борьбы грузинской прогрессивной общественности за свои идеалы и возрождение своей национальной культуры приобретали особое звучание. Они становились опосредованным проявлением общего стремления передовой русской интеллигенции к контакту с другими культурами на основе уважения и поддержки прогрессивных явлений и процессов, происходящих в них, вопреки колониальной политике самодержавия



Алексей Перовский — Соломону Додашвили

НЕСКОЛЬКО лет назад в Москве, в издательстве «Советская Россия» вышли в свет произведения Алексея Алексеевича Перовского (1787—1836), известного в русской литературе первой четверти XIX века под псевдонимом Антоний Погарельский. Студент Московского университета, участник Отечественной войны, член «Вольного общества любителей российской словесности», он был дружен с Рылеевым, братьями Бестужевыми, Кюхельбекером и др. Старший современник Пушкина и Гоголя, А. Перовский стоял у истоков русской литературы XIX века. Его литературное наследие составляют несколько прозаических произведений, стихотворения, статьи и письма. Наиболее известны его рассказы «Черная курица», «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», «Монастырка» и др.

Как пишет в своем предисловии к произведениям Перовского М. А. Турьян, «литературное наследие писателя невелико, его архив не сохранился». Поэтому каждая строка писателя интересна и дорога читателю...

С 1825 по 1830 год А. Перовский был попечителем Харьковского университета и его учебного округа. (С 1803 года вся территория империи была разбита на 6 учебных округов. Грузия и юг европейской части России входили в Харьковский округ).

В грузинском историческом архиве хранится письмо А. Перовского выдающемуся грузинскому философу, ученому и педагогу Соломону Ивановичу Додашвили, известному в русской философской литературе как С. И. Додаев-Магарский (Магарский от названия родного села С. Додашвили — Магаро, ныне Сигнахского района).

История письма А. Перовского к С. Додашвили такова: С. Додашвили, первый из грузин, прошедший курс обучения в Петербургском университете, в 1827 году вернулся на родину. В Петербурге он издал свой философский труд «Курс фило-

софии, часть первая, Логика». С. Додашвили посвятил свой труд А. Перовскому. На обороте титульного листа своей книги он написал: «Его превосходительству, попечителю Харьковского университета и его учебного округа, действительному советнику и кавалеру Антонию (!) Алексеевичу Перовскому».

В 1827 году, в год издания книги и возвращения С. Додашвили на родину, А. Перовского в Петербурге не было. Он с сестрой и племянником, будущим поэтом А. К. Толстым, гостил у Гете в Веймаре. Возвратившись в Петербург весной 1828 года, он ознакомился с книгой С. Додашвили, который в это время уже служил в Тбилиси, и написал ему письмо:

«Милостивый государь мой Соломон Иванович! Сочинение Ваше под названием: **Курс философии, часть 1-ая, Логика** по возвращении моем из заграницы я получил и, рассмотрев оное, нашел, оно как по содержанию своему, так и по способу изложения заслуживает особенное внимание. Такое счастливое начало упражнений ваших по предмету, столь важному и столь мало у нас обработанному, ручается за последствия, еще более счастливые, и потому мне весьма приятно изъявить вам за сей похвальный и полезный труд ваш мою совершенную благодарность и уверить вас, что продолжение такового труда и вообще занятия ваши по учебной части не останутся в свое время без соответственной оным награды. С должным почтением честь имею быть вашим, Милостивый государь, покорным слугою А. Перовский. 7 марта 1828. С. Петербург. Его благородию С. И. Додаеву-Магарскому».

Текст письма А. А. Перовского не нашел места среди других подобных материалов в издании его литературного наследия. Письмо это хранится в архивных делах «Заговора 1832 года», среди бумаг, отобранных у С. Додашвили 9 декабря 1832 года при аресте. Арестован он был как организатор политического союза, направленного против императорской власти.

Грузинский перевод письма А. Перовского опубликован профессором Ш. Гозалишвили вместе с материалами, касающимися истории названного политического общества. На русском языке письмо публикуется впервые.

Соломон ХУЦИШВИЛИ

ВСПОМИНАЯ ДОРОГИЕ ИМЕНА

В Тбилисской государственной филармонии состоялся вечер, посвященный выдающемуся грузинскому ученому и общественному деятелю, одному из основателей Тбилисского университета Эвтиме Такайшвили (1863—1953). Судьба этого замечательного человека была драматична, деятельность — многогранна и плодотворна. Педагог, исследователь эпиграфики, собиратель фольклора, археолог, археограф, источниковед, автор множества фундаментальных трудов, долгие годы провел он вдали от горячо любимой родины: в марте 1921 года национальные сокровища Грузии под охраной Эвтиме Такайшвили были вывезены во Францию. И лишь в апреле 1945 он вернулся на родину, привезя с собой не только врученные ему в 1921 году и сохраненные ценой огромных усилий и жертв сокровища, но и приоб-

ретенные в эмиграции блуждающие по свету реликвии грузинской культуры. Однако, когда в 1952 году подверглись репрессиям и прибывшие из Франции эмигранты, была арестована дочь Эвтиме.

21 февраля 1953 года перестало биться сердце Эвтиме Такайшвили, патриота и гражданина, всю жизнь и все силы свои отдавшего служению родине и родному народу. Прах его ныне покоится в Дидубийском пантеоне.

Настало время почтить память тех, кто несмотря ни на что оставался верен своим благородным идеалам. Грузинский фонд культуры, организатор вечера, отчеканил памятную медаль в честь Эвтиме Такайшвили. Там же, на вечере в Филармонии, первым был удостоен этой медали Реваз Табукашвили — известный писатель, кинорежиссер, общественный деятель, создатель многих фильмов и в том числе — фильма «Хранитель сокровищ Грузии».



Сдано в набор 29.04.88 г. Подписано к печати 15.06.88 г. Формат 84×108¹/₃₂. УЭ 08990. Высокая печать. Печ. л. 7,0 — усл. печ. л. 11,97, Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5 400. Заказ 1142. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Резо АМАШУКЕЛИ (заместитель главного редактора),
Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз
АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ,
Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА,
Алексей ГОГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТ-
КИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь).
Михаил ЛОХВИЦКИЙ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,
Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Серги ЧИЛАЯ.

ТЕЛЕФОНЫ: Главный редактор — 93-65-15, заместитель
главного редактора — 93-13-57, ответственный секре-
тарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы —
93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию»
обязательна

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

„ლიტერატურნაია გრუზია“

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

Тбилиси, ул. Ленина, 14.

26-88

88-38

65 კ.

ИНДЕКС 76117
საქართველოს
ბიბლიოთეკა

